В. Л. ПЕРОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕСТРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 2 7

В. Л. ПЕРОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕСТРЕ

(СОФЬЕ ПЕРОВСКОЙ)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1927 ЛЕНИНГРАД



Гиз № 19352/л.
Ленинградский Гублит № 35012.
7 1/4 л. Тираж 3.000.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

После многократного обдумывания я пришел к выводу, что написать полную биографию сестры моей, Софьи Львовны, задача мне не по плечу, и потому, чтобы не испортить дела, мне лучше и не браться за нее.

Однако, несомненно, что для будущего биографа необходимо все, что может осветить те условия, в которых родилась, росла Софья Львовна и в которых сложился ее характер. Я думаю, что в этом отношении для биографа очень важна жизнь всей семьи, в которой протекала первая половина жизни Софьи Львовны. Этому могут помочь только мои воспоминания, потому что я единственный член этой семьи, оставшийся в живых. К сожалению, мне приходится сознаться, что в этом отношении мои воспоминания далеко не удовлетворительны; но, что поделаешь — на 75-м году из памяти немного что можно извлечь.

Не меньшее значение имеют мои воспоминания, как опровержение многочисленных рассказов, как в статьях, писанных современниками и соучастниками в освободительном и революционном движении, в которое целиком ушла короткая жизнь сестры моей, так, еще более, в опровержение таких биографий, как Ашешова, самый тон которой резко дисгармонирует с действительным образом Софьи Львовны, так что отдельные поправки, фактические, пожалуй, мало помогут.

Все-таки, думаю, что, как для биографа, так и для читателей моих воспоминаний, они будут не совсем безынтересны и бесполезны. Из них будет ясна малая положительная роль отца в формировании характера Сони; скорей он действовал на нее как отрицательный пример, порой сильно отталкивающий. Главным же положительным фактором была наша мать, с ее любвеобильной душой и отзывчивостью ко всему прогрессивному, что ворвалось в жизнь ко времени юности сестры.

Моя роль в жизни сестры сводилась, во время детства ее, к почти постоянному соучастию в играх и времяпрепровождении, а со времени Сониной юности, во-первых, — к доставлению книг для общего чтения и, во-вторых, — к соучастию в умственном и нравственном перерождении под влиянием этого чтения. Но в этом отношении сестра очень скоро меня опередила и обнаружила самостоятельность.

Жизнь Сони на нелегальном положении шла уже целиком вдали от меня, и о ней могут рассказать только ее близкие друзья и сотрудники. Я могу передать только о свиданиях с матерью в имении матери под Севастополем, перед взрывом московского поезда, а также перед судом после 1 марта.

I.

Отец наш, Лев Николаевич, был вторым, по старшинству, сыном Николая Ивановича Перовского, служившего в молодости по министерству иностранных дел и бывшего довольно долго студентом миссии (как значится в его формуляре) в Пекине и в Дании. Затем дед был вице-губернатором Таврической губернии и Керченским градоначальником, а под конец — губернатором той же губернии, но недолго; выйдя в отставку, он жил безвыездно до самой смерти в имении своем — Кильбурун, в десяти верстах от Симферополя, по южнобережской дороге.

Хотя дед был сыном Алексея Кирилловича Разумовского и старшим братом остальных Перовских: Алексея, Льва, Василия, Бориса и сестер — Марии и Анны, но, не знаю почему, он назывался, по батюшке, Ивановичем, тогда как все они назывались Алексеевичами. *

Мать наша, Варвара Степановна, была дочерью Степана Семеновича Веселовского и Луизы Петровны, урожденной Долгово-Сабуровой.

Всех нас детей у родителей было четверо: Николай, родившийся в 1845 г., Мария, родившаяся в 1847 г., я — Василий, родившийся в 1849 г., и Софья, родившаяся в 1853 г., только не помню, в июле или в августе.

---

* На могильной плите в Кильбуруне он назван Алексеевичем.

Отец наш родился в Петербурге в 1814 г. Восприемниками его были Алексей Кириллович Разумовский (вероятно, родной дед) и, кажется, княгиня Шаховская. Он воспитывался в Царскосельском пансионе (при Николае I), а по раскассировании его отдан был, с братом его Алексеем, в институт инженеров путей сообщения, который и окончил в 1831 г. — так значилось в бумагах архива института, где я искал копию его метрического свидетельства. Работал отец некоторое время на Ладожском канале, но вскоре перешел на военную службу в Измайловский или какой-то гренадерский полк; попал в адъютанты к корпусному командиру Ушакову и, кажется, во время маневров в Могилевской губернии познакомился с моей матерью, Варварой Степановной, жившей у своей матери, Луизы Петровны, в ее имении Церковье, Могилевской губернии, Гомельского уезда, вблизи местечка Чечерск.

После женитьбы отец вышел в отставку и перешел на службу в петербургскую таможню. Рассказывала мать, что как-то раз отец, выезжая в шлюпке на взморье, для осмотра судна, взял ее с собой; в это время поднялся сильный ветер, шлюпку качало, заливало водой и едва не перевернуло. После этого случая мать испытывала панический страх к воде и ни за что не соглашалась больше садиться в лодку или даже на пароход; точно так же, вероятно, с этого времени, она до крайности боялась езды в экипаже на лошадях, в особенности ночью.

Только меня выкормила мать сама, а всех остальных выкармливали кормилицы.

У меня живо сохранилась в памяти сцена крестин Сони. Крестным отцом был дядя наш, младший брат отца, Петр Николаевич, а крестной матерью — наша бабушка, мать отца, Шарлотта Петровна. Соня представляется мне на руках у кормилицы, одетой в яркого цвета сарафан, и бабушка накидывает на Соню золотой крест на яркой пунцовой ленте.

Вероятно, в 1854 г. или, может-быть, в 1853 г., мать с нами троими, исключая брата, жила довольно долго у матери своей, Луизы Петровны, в Церковье. Там я и Маша болели корью: мы лежали у матери в ее комнате, помнится, с закрытыми ставнями окнами. Брат Николай был уже отдан в пансион Кузнецова в Петербурге. В Церковье жили еще две сестры матери: старшая — Юлия Степановна, болевшая ногами и не выходившая из своей комнаты, и младшая — Евгения Степановна, впоследствии умершая у нас на квартире в Петербурге. Помнится, она катала нас с Машей зимой на санках и как-то раз поехала с нами двоими за почтой в Чечерск. На каком-то ухабе санки чуть не перевернулись; тетка выпала и упустила возжи, а мы остались в санях; лошадь побежала рысью; тетка не могла ее догнать и, с перепугу, стала нам что-то кричать; к счастью, встречный крестьянин остановил лошадь.

За время пребывания в Церковье у меня ничего не сохранилось в памяти о Соне. Вероятно, она была на руках у кормилицы, а я все время проводил на дворе со старшей сестрой, Машей.

Помнится мне, что в Церковье мать выучила меня читать, конечно, еще по старому способу, и с ее помощью я читал евангелие. Когда дело дошло до страданий Христа и его казни, то я заливался горькими слезами, да, вероятно, и мать, глядя на меня. Помню также, что мать, тогда очень религиозная, учила меня ежедневно перед сном произносить молитву, стоя на коленях перед иконами, в углу комнаты.

То же без сомнения проделывала мать и с Соней в первые годы ее раннего детства. Однако, это продолжалось недолго, потому что, со дня поступления в гимназию в Симферополе, я уже не помню совершенно о чтении молитв перед сном. Припоминается мне, что Соня впервые допущена была к исповеди у священника, впрочем, у нас на дому. Соня рассказала матери, какие вопросы и наста-

вления задавал ей священник. Они были и смешны и глупы, что, наверное, чувствовала Соня. Уже в Петербурге я не помню, чтобы она бывала у исповеди.

Затем вспоминается мне уже жизнь в Петербурге. Раз как-то вечером, когда мать, сидя за большим столом, разливала нам чай, Соня, очевидно, уже кое-как ходившая, незаметно для матери подойдя к столу, потянулась рукой к подносу с самоваром, под краном которого стоял стакан с чаем, только что налитый матерью для отца; ухватилась она за блюдечко и опрокинула стакан целиком на себя. Не помню, кричала ли сильно Соня при таком ожоге; отец побежал за ближайшим доктором, а мать обсыпала обожженные места белым порошком, вероятно пудрой, и, обложив толстым слоем ваты, уложила Соню на турецкий диван, в той же комнате, и она скоро заснула. Доктор одобрил действия матери и успокоил относительно последствий. Не знаю, было ли это результатом ожогов, но мне помнится, что у Сони одно время голова была покрыта струпьями. Очень может быть, что это было раньше описанного случая, так как при воспоминании об этом Соня рисуется мне на руках у няньки или кормилицы.

II.

Вообще из времени раннего детства у меня сохранилось в памяти очень мало. Помнится, что мы жили на Гороховой, вблизи строящегося моста на Фонтанке; мимо наших окон провозили огромные железные балки. Кроме того, помнится, сильное впечатление на нас произвело посещение выставки разных животных и, главным образом, птиц: попугаев, лебедей и страусов, устраивавшейся в круглом сквере позади Биржи и Академии Наук на Васильевском острове. В это время у отца был серый попугай, наш общий любимец, которого отец учил произносить раз-

ные слова и даже фразы на потеху гостей, исключительно приятелей и сослуживцев отца и наших родных.*

Кажется, в 1856 г. брат отца, Петр Николаевич, должен был отправиться в Китай с миссией министерства иностранных дел, по поводу Уссурийского края, а бабушка Шарлотта Петровна, жившая у него, уезжала в Крым к деду Николаю Ивановичу. Дядя занимал казенную квартиру на Мойке, в нижнем этаже здания министерства иностранных дел, и мы временно переехали в нее. Помнится мне, как-то раз, приблизительно, в это время, отец водил нас, меня и брата, к своему дяде, Василию Алексеевичу Перовскому, бывшему Оренбургскому генерал-губернатору и главнокомандующему Хивинского похода. Торжественная и величественная обстановка и суровое выражение лица больного старика произвели на меня устрашающее впечатление, хотя при прощании дед подарил нам по золотому червонцу. Помню также посещение отцом с нами в Царском Селе другого дяди, Бориса Алексеевича, бывшего воспитателем двух сыновей Александра II и жившего в здании дворца. Там мы чувствовали себя свободнее, так как это было летом, и мы играли в мяч с двумя младшими дочками Бориса Алексеевича, бывшими почти одних лет с нами. Отец, очевидно, пользовался покровительством этих высокопоставленных родственников.

Однако, мать наша, выросшая в провинциальном обществе, чувствовала себя очень неловко в высших кругах и потому очень тяготилась визитами в эту среду, что было главной причиной столкновений ее с отцом.

Она, по ее рассказам, девочкой была отдана в частный пансион, содержимый какой-то француженкой, в котором

* В последнее время (перед отъездом во Псков) отец служил в государственном банке; как-то раз ходили мы смотреть, как жгли в железной клетке, в палисаднике, против Казанского собора, негодные бумажные денежные билеты.

главное внимание обращалось на правила внешнего приличия, на манеру держать себя, для чего ей даже довольно долго пришлось носить доску на спине, чтобы привыкнуть держаться прямо. В пансионе этом она выучилась кое-как говорить по-французски, конечно, только пустым салонным разговорам, да чтению кое-чего из классической французской литературы; взрослой же девушкой она жила все время в деревне у своей матери, бывала в гостях только у своих ближайших родственников и читала только то немногое, что попадалось в домашних библиотеках.

В Петербурге же у отца средства были очень ограничены; он жил на одно только жалованье, так как от своего отца, жившего тогда безвыездно в своем крымском имении Кильбурун, близ Симферополя, он ничего не получал; поэтому у отца бывали запросто немногие родные, да некоторые сослуживцы и товарищи по военной службе. Дядя Петр Николаевич, никогда не служивший на военной службе, не особенно также льнувший к военным кругам, бывал у нас довольно часто и радушно относился к матери; с отцом же у них взаимные отношения были не особенно сердечные, потому что характеры и вкусы их не очень-то подходили друг к другу. Петр Николаевич был младшим сыном бабушки, Шарлотты Петровны; она особенно любила его и, когда приезжала в Петербург, то всегда подолгу жила у него на квартире. Мама поддерживала с ней всегда хорошие отношения.

Все свое время мать отдавала заботам о нас, детях, да хлопотам по хозяйству. В это время она перетянула к себе младшую сестру свою, Евгению Степановну, вскоре заболевшую тифом и, к большому горю матери, умершую у нас. Чаще всего мать посещала своего старшего брата Константина Степановича Веселовского, кажется, тогда уже ставшего непременным секретарем Академии Наук. К нему мать всю жизнь относилась с особенным уважением и почтением.



Семья Перовских в Петербурге (1856 г.).
Николай. Варвара Степановна с Соней. Мария. Лев Николаевич. Василий.

III.

В конце 1856 г., когда Петр Николаевич уехал с миссией в Китай, отец был назначен вице-губернатором во Псков. Мы, перед отъездом, снялись, всей семьей, у фотографа, кажется, даже первого в Петербурге — Деньера. Эта группа сохранилась у меня сейчас, * а также группа из нас троих, — меня, брата и Маши, — раскрашенная красками. Обе эти группы в рамках всегда висели у отца в кабинете (в числе прочих фамильных портретов). В то же время снята была Соня отдельно, сидящей на стуле (кажется, дагерротип, подрисованный красками).

Во Пскове отец нанял квартиру в одном из лучших деревянных домов с мезонином у местного купца Курбатова; около дома был порядочный сад, частью фруктовый, с краю которого находилась старая деревянная баня и небольшой пруд, изобиловавший карасями; около него рос старый, искривленный каштан, на который мы постоянно лазили и под ним играли; в этом же саду устроили для нас качели, а зимой, у самого пруда, сооружалась ледяная гора. Сад этот, невысоким, дощатым забором отделялся от сада при губернаторском доме. Губернатором был Валерьян Николаевич Муравьев, вдовец; у него был единственный сын Николай (немного старше меня), бывший причиной смерти матери при своем рождении; отец в нем души не чаял и исполнял все его причуды. У Коли была гувернантка, бонна, как тогда называли, неотлучно находившаяся при нем.

Вскоре после нашего поселения в доме, мы, играя у бани, услышали голоса за забором и, вскарабкавшись на него, увидали Колю с коляской, запряженной мулом; Коля, ви-

---

* Копии с нее находятся в музеях революции в Ленинграде и Москве, а также в обществе бывших политкаторжан в Москве.

димо, обрадовавшись подходящей компании, стал звать нас к себе; мы все трое спрыгнули к нему и проиграли с ним до обеда. Вслед за этим Муравьев сделал визит к нам и просил отца и мать пускать нас почаще играть с его сыном; после этого мы трое зачастую бегали в сад к Коле (исключая брата Николая, поступившего уже в гимназию).

В губернаторском саду был также довольно большой пруд с паромом; мы передвигались с одного берега на другой, воображая, что плывем на судне и сражаемся с разбойниками. Случилось как-то раз, что Коля полетел в воду, и мы втроем, да, кажется, еще и с Валей Ходкевичем, вытягивали его из воды на плот; бонна Колина, сидевшая на берегу с вышиваньем, перепугалась страшно, подняла крик, и горничные принесли перемену белья и одежды Коле. *

Мама наша скоро подружилась с женой одного псковского помещика, Евгения Петровича Окунева, Екатериной Петровной. Окуневы жили зимой во Пскове в собственном доме. У них было три дочери, две взрослые, — Анна и Екатерина, и третья — Надежда, почти ровесница нашей Маше, часто приходившая к нам играть, и еще сын Александр, товарищ по классу Николая.

Отец наш, большой любитель карточной игры, в пикет в особенности, нашел себе партнера в жандармском полковнике Дмитрие Матвеевиче Ходкевиче, вдовце, очень неравнодушном к дамскому обществу. ** У него был сын Валя

* Впоследствии, когда мы были уже в Петербурге, к нам пришла как-то эта бонна, уже дряхлая старуха, и с плачем рассказывала маме, что воспитанник ее Коля, ставши совершеннолетним, прогнал ее из дому, а отца своего вогнал в могилу, грубо потребовав у него отчет в распоряжении наследством, оставленным ему дядей Муравьевым-Карским. Этот же Николай Валерьянович был обвинителем по делу 1 марта, а после — министром юстиции.

** Этот же Ходкевич был уже генералом и начальником жандармского округа всей Сибири, когда я был в ссылке в западной Сибири. в городе Таре, Тобольской губернии, на берегу реки Иртыша. Проезжая мимо на пароходе для ревизии, он принял меня в своей каюте.

(Валерьян), беспрестанно, целыми днями, в особенности по воскресеньям, игравший с нами в саду.

У нас была гувернантка Анна Карловна, пожилая немка, с которой мы трое, я и сестры, учились немецкому языку, а для занятий со мной и Машей по арифметике, географии и русскому языку приходил к нам учитель гимназии. Мать наша учила нас французскому языку и заставляла говорить по-французски, а с гувернанткой мы должны были говорить по-немецки.

Дом Курбатова, который мы почти весь занимали, был деревянный, старинного образца, с мезонином, в котором была комната, занимаемая матерью, с окнами на двор и в сад, а на улицу выходили окнами две комнаты. В одной из них, довольно большой, помещались обе сестры с гувернанткой; в этой комнате был большой стол для занятий. Рядом была другая комната поменьше, в которой помещался я с братом, и здесь мы занимались с учителем Васильевым (кажется). После утренних занятий мы высыпали в сад и возились там вплоть до обеда и после него.

В журнале «Былое», № 8 за 1906 г. (в биографии С. Перовской, на стр. 116) сказано: «Детство Сони прошло не весело... Соня, как последняя дочь, родилась в самый разгар семейной каторги. К старшим детям отец еще чув-

---

В первый момент, когда я вошел, он встал, в недоумении глядя на меня; но как только я произнес: «Здравствуйте, Дмитрий Матвеевич!», так моментально лицо его преобразилось, и он по-старому обнял меня и поцеловал. Спрашивал о здоровье матери и отца. — «Ну, как это Соня дошла до этого? Ведь, если бы вас всех оставить на свободе, то вы всех нас перерезали бы»! — «Нет, — говорю, — Дмитрий Матвеевич, не верьте этому. Вы знаете нашу семью и, конечно, поверите, что никакого зверства не могло быть в душе Сони; это просто была отплата за те ужасы и гибели, которые пришлось переживать таким же, как и она сама». — «Ну, хорошо: ты тут ничем еще не отличился?» — «Нет», — говорю, смеясь. — «Ну, потерпи немного еще, а я, по возвращении из поездки, буду хлопотать о твоем освобождении».

ствовал некоторую привязанность, Соню же он сразу не взлюбил». Точно так же у Ашешова (в биографии С. Перовской) говорится о побоях отца и о принуждении им сына бить мать. Это сплошная неправда! * Относился отец совсем не плохо ко всем нам в годы нашего детства. Во Пскове, когда Соне было от трех до пяти лет, за обедом он садился с левой стороны от матери, а Соня против него, справа у матери; отец часто потешал нас, если возвращался со службы в хорошем расположении духа; он принимался излагать смехотворную ерунду, обращаясь к Соне с глубокомысленными вопросами, вызывая с ее стороны неожиданные реплики, от которых мы покатывались со смеху; между тем Соня сохраняла серьезный вид. Мы все одинаково, в дни рождений или именин, получали подарки. Я не могу припомнить хоть один случай, когда бы отец ударил или высек кого-либо из нас. Вообще же отец, за постоянными служебными занятиями, мало времени проводил в семье, главным образом, только за обедом, а по вечерам, когда бывал дома, то, большею частью, играл в карты до поздней ночи с кем-либо из гостей. В эти времена отношения отца к матери, напротив, были лучшими, и оскорбительные сцены, какие он задавал матери, наступили и участились гораздо позже.

Отец был очень избалован в пище: простая кухня, бывшая подстать провинциальному, хотя и хорошему, повару, его беспрестанно раздражала; он разражался руганью и, не довольствуясь изливать свой гнев на вызванного повара

---

* — сочиненная и распространенная с легкой руки С. Кравчинского. Вообще эта статья, хотя написанная лицом, 8 лет знакомым и близко, повидимому, с сестрой, но все-таки полна вымыслов и неточностей. Но все-таки это наилучшая биографическая статья о сестре. Только в ней есть глубоко верное замечание (на стр. 115) о сдержанности и даже замкнутости сестры в личных душевных переживаниях, едва ли известных даже самым близким ее друзьям.

или кухарку, осыпал при этом случае и мать всякими упреками, даже руганью и пренебрежительными напоминаниями о ее родне и их провинциальных вкусах, и наделял ее оскорбительными прозвищами и прочее. Да и эти сцены появились, главным образом, во время последующей жизни в Крыму и затем в Петербурге, когда, случалось, попадались повара и кухарки, не очень отличавшиеся ни поварским искусством, ни добросовестностью в расходах. Во Пскове же к нам поступил повар старик, довольно умелый и очень симпатичный, к которому даже отец относился приветливо. Во время вышеупомянутых сцен, впоследствии, отец избегал смотреть на нас, потому что мы сидели насупленными, и по выражению наших лиц он мог понимать, что мы на стороне матери.

Как я уже упомянул, к нам очень часто приходил Валя Ходкевич, и мы, смастерив из дощечек мечи, устраивали в саду сражения с разбойниками, принимая за них густую и рослую крапиву; в этих сражениях всегда принимала деятельное участие и Соня, несмотря на свою миниатюрность, да и мы сами, немногим были крупнее ее; большею частью отсутствовала Маша, потому что она часто уходила к Окуневым и по возрасту не подходила.

В вышеупомянутых комнатах мезонина мы один за другим переболели скарлатиной, так что лежали все трое одновременно в постели; лечил нас очень милый старичок, врач Бартошевич, а ухаживала за нами неотлучно мать, под конец сама заболевшая той же болезнью в очень тяжелой форме и долго пролежавшая в постели.

Во Пскове как-то учитель рисования в гимназии (Кислин по подписи) нарисовал простым карандашом чрезвычайно удачный портрет матери, судя по восторженным отзывам всех знакомых. Способ рисования его произвел на меня глубокое впечатление, и память о нем сохранилась у меня очень живо. Он начал, вероятно, без всякого предваритель-



Варвара Степановна Перовская.
(С карандашного рисунка 1857 г.)

ного контура, прямо с темени головы, с волос, закрывая остальную часть бумаги куском листа, и затем, понижая постепенно этот лист, рисовал вчистую по частям следующие части лица. Этот портрет, в бархатной рамке, всегда висел у отца в кабинете и сохранился у меня до сего времени.*

Помнится мне еще одно событие из жизни во Пскове. В те времена комнаты освещались по вечерам сальными свечами, и игрокам ставились на ломберный стол такие же свечи; для снимания нагоревших концов фитилей на подносике лежали особые щипцы; зачастую все это серебряное. При таких свечах сидели и мы в своих комнатах и занимались по вечерам. Отец ездил как-то в Петербург, по делам службы, и привез оттуда новинку — целый ящик стеариновых свечей. В ближайший же наш праздник, 4 декабря, именины матери, устроен был у нас бал с музыкой и танцами, для чего открыты были двери и в комнаты хозяина. Все комнаты и зал для танцев были ярко освещены люстрами и бракетами со стеариновыми свечами, что произвело чрезвычайный эффект, и в предвидении этого празднество было очень многолюдно.

В последний год пребывания во Пскове (кажется, 1858) отец получил известие от бабушки Шарлотты Петровны о смерти отца, нашего деда, Николая Ивановича.** Отец тотчас же поехал в Крым. Довольно скоро он вернулся и привез кое-какие вещицы, в том числе мне и Коле маленькие одноствольные ружья, из которых он сам в детстве

---

* В Ленинградском музее революции есть художественная копия, тоже карандашом, с этого самого портрета.

** У отца с тех пор хранился (доставшийся ему по наследству) портрет деда нашего, прекрасно нарисованный масляными красками известным художником Кипренским. Этот портрет, после смерти отца и брата моего, перешел ко мне и в 1916 г., по нужде, продан был Терещенко, а в настоящее время находится в одной из зал Русского музея в Ленинграде.

учился стрелять. Между прочим он привез нам еще разные вещицы из яшмы и сердолика; мне он подарил маленькую коробочку из сердолика. Я таскал ее всюду с собою и скоро потерял в саду. До крайности огорченный, я, улучив минуту наедине, стал на колени перед иконой и стал горячо молить бога, чтобы он помог мне найти коробочку; затем я направился в сад искать ее и действительно довольно скоро нашел ее в траве; однако, я скоро опять потерял ее и, как ни молился, все-таки вновь не мог ее найти. Это сильно пошатнуло во мне веру в бога, хотя сомнения в его существование еще не закрадывались.

IV.

В виду того, что отцу с братом его Петром Николаевичем (старший, Алексей, давно умер) досталось в наследство четыре имения в Крыму и являлась необходимость совершить раздельный акт, а также отчасти потому, что в Крыму фамилия Перовских пользовалась большим весом, отец, проезжая обратно из Крыма через Петербург, просил о переводе его в Крым. Это ему удалось, благодаря покровительству высокопоставленной родни.

Мы скоро распродали всю обстановку, конечно, за бесценок, и отправились через Петербург, по только что построенной железной дороге, а оттуда по Николаевской — на Москву; с Москвы же — в собственных экипажах на почтовых лошадях. Это было осенью 1858 г.

Из дорожных впечатлений помнится мне, что на какой-то станции мы видели встречный целый поезд; это везли пленного Шамиля с сыном и женами в Калугу, в ссылку. Помнится, в Бериславе мы с братом и нянькой ходили на базар покупать арбузы, и они были столь громадны, что я не мог дотащить свой до почтовой станции. Переправлялись мы через Днепр с экипажами на каком-то суденышке, а затем тащились по береговому песку еле-еле, шагом,

с беспрерывными остановками. Затем отец, сгорая от нетерпенья, поехал вперед, а мы тащились уже медленнее, останавливаясь на ночь на станциях. Езда была утомительная, потому что в карете, хотя четырехместной, кроме многочисленных узелков, нас сидело: мать, нянька и трое детей, исключая брата, уехавшего с отцом; кроме того, с нами были две охотничьи собаки, которых надо было всякий раз при приближении к стаду овец забирать в карету. От самого Харькова нам попадались беспрестанно воловые обозы с бесконечным числом возов; это были чумаки с солью из Крыма; они обдавали нас пылью и вынуждали сворачивать с дороги, порой в очень неудобном месте. Жара в карете была несносная.

Наконец, мы увидали вдали Крымские горы и вершину их, Чатыр-Даг. Отец выехал к нам навстречу; мы переменили в Симферополе только лошадей и поехали Салгирской долиной в имение деда Кильбурун. Тут горы по бокам долины уже принимали живописные очертания; обилие зелени, фруктовых садов и целые аллеи пирамидальных тополей, окаймляющих дорогу; большие стаи скворцов, усеивающих верхушки тополей и издающих звонкое щебетание, — все это производило на нас сильное, чарующее впечатление, и мы беспрерывно издавали восторженные восклицания. Нам в первый раз пришлось увидеть картины южной природы. В Кильбуруне нас встретила бабушка, Шарлотта Петровна. Обед был готов, и мы, насытившись, пустились во все стороны любоваться окрестностями вокруг дома и чудными видами на долину реки Салгира и на величественный Чатыр-Даг, резко вырисовывавшийся над линией главного хребта Яйлы.

Скоро бабушка уехала в Петербург, а мы переехали на зиму в Симферополь и поселились во втором этаже дома на углу Соборной площади и Екатерининской улицы. Я поступил в гимназию в первый класс, а брат — в четвер-

тый. Старшую сестру, Марию, отец отдал в керченский институт (помнится, к неудовольствию матери), а для Сони договорена была, кажется, учительница, которой я совершенно не помню. Кроме того, для обучения танцам, ходил к нам особый учитель со скрипачом, и помнится мне, что в один из дней рождения или именин отца я и Соня танцовали какой-то матросский танец — я в матросском наряде, а Соня — в белом кисейном платье, с розовым шарфом в руках. Эти уроки танцев продолжались и впоследствии, кажется, уже во времена губернаторства отца; к нам ходил для этого, знаменитый в то время, балетный комик Стуколкин. Но ни я, ни Соня не научились совсем модным танцам, так как не любили их.

Зимой я мало проводил время с Соней, потому что у меня уже завелись гимназические товарищи. У Сони было знакомство с одной однолеткой, дочерью пожилой дамы Варпаховской, часто у нас бывавшей. В зимнее время, помнится мне, Соня еще возилась с куклой, и ей делались подобные подарки, но летом я решительно не помню, чтобы она хоть когда-нибудь занималась куклой. Точно так же после переезда в Петербург, еще в первую зиму, она коекак занималась куклой и шитьем платьев для нее, но, видно, и тогда уже не особенно чувствовала склонность к этому, так что в последующие зимы совершенно забросила это, и ей уже не делали соответствующих подарков, да скоро она верно раздарила кому-либо свои куклы, так как мне не помнится их среди ее вещей в уголке комнаты.

На лето отец, по желанию матери, нанял дом в Евпатории, на берегу моря, и мы купались целое лето; зачастую по целым дням болтались в теплой морской воде и зарывались в горячем прибрежном песку. Соня и Маша, взятая на лето домой, имели компанию из двух девочек, дочерей недавно умершего военного врача Ковальского, вдова которого поселилась в доме рядом с нашим. Мы объедались

фруктами вволю, благодаря необычайной дешевизне. Помнится, раз мы устроили пиршество, для чего сделали складчину, и собрали что-то очень немного, около рубля или немного больше; этой суммы было достаточно, чтобы накупить такую уйму дынь, арбузов, груш, яблок, слив и прочего, что всем нам, в общем количестве, кажется, семь или восемь душ, хватило наесться до отвалу, так что многим пришлось к ночи испытать полное расстройство желудка; у Сони дело дошло до рвоты, и после этого она не могла видеть дыню; это отвращение у нее осталось до конца жизни. Плавать и нырять мы все изрядно подучились, и Соня тоже, а в более зрелом возрасте она стала выдающимся пловцом.

У деда в Кильбуруне было до десятка различной величины (около аршина и более) медных пушек, с французскими надписями на некоторых. Только мы с Соней ими забавлялись и изрядно постреливали, благодаря дешевизне пороха. Я, как водится старшему, норовил играть роль командира, а Соня исправно, по команде, прикладывала фитиль к затравке и ничуть не пугалась выстрела и не смущалась, что пушка отскакивала назад. Вот еще интересный в этом отношении случай из жизни в Кильбуруне, обнаруживший ее бесстрашие. Как-то раз, выйдя из дому и направляясь в сторону конюшни, я увидал вдали одного из служащих, махавшего мне рукой и кричавшего, чтобы я поостерегся: в мою сторону по дороге бежала бешеная собака; действительно я увидал изрядной величины собаку с поджатым между ног хвостом и с пеной у полуоткрытого рта. Я бросился в комнату, схватил свою одностволку, заряженную дробью, и выбежал, отыскивая глазами собаку. Я увидал, что она обогнула длинное здание (недостроенное дедом) и медленно побежала по тропинке, протоптанной вдоль этого здания; между тем, навстречу ей шла Соня. Сильно испугавшись, я крикнул ей, чтобы она скорее сошла

в сторону и встала неподвижно, чтобы не обратить на себя внимание собаки, а сам побежал догонять ее. Соня отошла в сторону — не больше 4 — 5 шагов — и спокойно смотрела на собаку, пока она пробегала мимо, после чего я мог уже стрелять в нее.

Вообще сколько я ни припоминал, но никогда не мог вспомнить, чтобы Соня когда-нибудь чего-либо испугалась или вообще трусила.

В 1860 г. мы тоже купались в Евпатории и на этот раз пришлось нам видеть хватающие за сердце сцены на пристани. Целые толпы татар, — мужчин, женщин и детей всех возрастов, — собирались для переселения в Турцию на берегу, в ожидании посадки на жалкие парусные турецкие суденышки, маячившие вдалеке от пристани; все они горько плакали и рыдали, прощаясь с родной землей.

Губернатором в то время был генерал Г. В. Жуковский, кажется, герой Крымской войны, часто отлучавшийся со службы, и наш отец, заменявший его, частенько имел с ним столкновения. Наконец, Жуковский, видимо, усиленно жаловавшийся на отца министру, получил удовлетворение, в виде отчисления отца к министерству. Отец полетел в Петербург и довольно нескоро, однако, и то благодаря лишь влиятельным родственникам, получил назначение вице-губернатором в столичную Петербургскую губернию.

Во время отсутствия отца часто по вечерам приходил к нам сосед наш по Кильбуруну, Иван Самсонович Чех, и читал вновь вышедшие произведения Тургенева «Дворянское гнездо», «Записки охотника» и «Записки из мертвого дома» Достоевского. Тогда у нас жила тоже больная тетка Юлия Степановна, которую мама, с согласия отца, выписала из Церковья в первое же лето; она брала по летам курс Сакских грязей. Соня любила тоже слушать чтение, хотя порой не выдерживала долго и под конец засыпала на диване, у матери за спиной.

V.

Как только отец получил место, так дал знать матери, и она собралась с нами в путь. Это было в 1861 г., осенью, кажется, в самом начале октября. Я перешел уже во второй класс, но ходить в гимназию не начинал в виду предстоящего отъезда.

Петербургским губернатором был в то время граф Бобринский, очень хорошо относившийся к отцу и живший в своем собственном доме; поэтому он предоставил казенный дом в распоряжение отца. Дом этот был на Екатерингофском проспекте, против казарм гвардейского морского экипажа. В нижнем этаже, с правой стороны от ворот, были кабинет, приемная и спальня отца и дверь в канцелярию губернатора. По другую сторону ворот, в нижнем же этаже, была квартира в три комнаты с особым подъездом и передней, которую отец предоставил своей матери, Шарлотте Петровне; весь второй этаж занимали мы с матерью; и там были приемные комнаты и большая зала для танцев.

Бабушка Шарлотта Петровна пожила в квартире недолго; она заболела тяжелой болезнью и через месяца полтора умерла. Незадолго до этого вернулся из Китая дядя Петр Николаевич и остановился на некоторое время у нас. С ним приехали — офицер генерального штаба Турбин, проводивший границу Уссурийского края, и врач миссии (фамилии не помню). Между прочим Турбин некоторое время занимался с братом, помогая ему готовиться в пятый класс; для меня же был договорен студент университета, в то время еще закрытого вследствие беспорядков. Он готовил меня в третий класс. Для Маши и Сони найден был учитель, кажется, Кондырев. Кроме того, была нанята гувернантка немка; она занималась немецким языком и со мной. Летом мы жили на даче, кажется, на Крестовском острове. Помнится, что в свободные часы отец играл с нами в мяч и рюхи, а также

читал нам вслух роман Гюго «Les Misérables». Я слушал внимательно, но без сомнения мало понимал его смысл; не помню, слушала ли его Соня.

Осенью 1862 г. брат мой поступил в пятый класс, а я в третий, в ближайшую от нас пятую гимназию у Аларчина моста. Директором ее был Александр Николаевич Беляев, бывший раньше учителем физики и математики, человек очень образованный и педагог по призванию. Учителем физики был Константин Дмитриевич Краевич, автор впоследствии изданного им известного учебника физики; он пристрастил меня к физическим и научным знаниям и много содействовал моему развитию. В этой гимназии в то время преподавался и латинский язык, но только с третьего класса.

В первую же зиму нам троим, мне и сестрам, были куплены коньки, и я ходил каждое воскресенье, с Соней в особенности, на каток на Мойке у Синего моста. На вторую зиму мы ходили уже на каток, устроенный обществом англичан на Неве, у Николаевского моста.

На лето, когда я перешел уже в IV класс, мать уговорила отца отпустить нас всех на летние каникулы к псковским приятелям матери, Окуневым, в их имение в Порховском уезде. Отец согласился, потому что это было дешевле, чем нанимать дачу в окрестностях Петербурга.

Поехали мы, конечно, по железной дороге до Пскова; на вокзале нас встретил Евгений Петрович, перевез нас в свой городской дом, а на другое утро мы отправились в его имение, верстах в 35-ти от Пскова. Я взял с собой свое одноствольное ружье и Колино тоже, а Коля получил уже от отца большую двустволку. В имении устраивались разнообразные поездки по окрестностям и в лес за грибами. Около дома было довольно широкое и длинное озеро, образованное из мелкой речки посредством запруды, и мельница; на берегу озера была палатка для купанья. Перед верандой дома была живописная лужайка и березовая роща,

спускавшаяся до речки много ниже плотины; на веранде или вблизи ее в ясные, теплые вечера вся публика располагалась беседовать и петь русские песни и засиживалась обыкновенно за полночь. Наша мать была целые дни неразлучна с Екатериной Петровной. Приехал погостить на несколько дней Ходкевич с дочерью-институткой и сыном Валей, гимназистом. Мы с Соней и Валей, при помощи лесного сторожа, николаевского солдата, устроили маленький плот из бревен; укрепили на нем мачту, смастерили из простыни парус и разъезжали на этом плоту вдоль по речке ниже плотины, перетягивая его на перекатах. Соня была неизменная участница в этих играх. Устроили мы также плетеную избушку с соломенной крышей на противоположном берегу речки и варили там себе пищу в котелке.

Раз как-то, уже ко времени жатвы хлебов, лесной сторож сообщил, что, обходя ночью по опушке леса, возле овсяного поля, он наткнулся на медведицу с медвежатами, спугнул ее, и она ушла в лес. Брату Коле очень хотелось подстрелить медведицу, и он под ночь, не говоря никому, отправился на то место и засел на дереве со своей двустволкой; однако, мать скоро заметила его отсутствие и, сильно испугавшись, упросила Евгения Петровича послать за Колей, чтобы тот сейчас же вернулся, и тому, хотя с большой досадой, пришлось вернуться. Меня и Соню тоже охватило сильное желание повидать медведицу, и мы порешили дня через два отправиться попозже вечером на то же место. Обыкновенно по вечерам, до того времени, когда публика начинала расходиться с балкона, я и Соня проводили все время по другую сторону речки, около избушки, и, следовательно, довольно далеко от дома, не на виду у сидящих на балконе. Порешили мы с Соней, что просидеть на опушке леса много за полночь все равно не удастся, поэтому нужно пойти на опушку под самый подлесок; тогда, может, посчастливится нам застать медведицу. Я зарядил

свою одностволку пулей и Колину крупной дробью, а Соне дал большой охотничий нож, купленный в Петербурге перед отъездом. Условились мы, что, если удастся подойти тихонько близко к медведице, то я буду стрелять из обоих ружей, и, если медведица будет еще жива, то Соня должна сунуть мне в руку нож, заранее вынув его из ножен, а сама должна бежать домой и звать на помощь. Дождавшись назначенного времени в избушке, мы отправились по опушке леса к овсяному полю; шли, крадучись, по траве; к сожалению, обильная роса на высокой траве сделала то, что Соня до пояса совершенно смокла, да и у меня сапоги, не очень исправные, были полны воды; однако, мы все-таки дошли до того места, где овес был раньше потоптан медведицей; мы прошли по всем переходам по овсу; на тех местах, где медведица, очевидно, лежала и сосала колосья, чутко прислушивались, останавливаясь, перекидывались безмолвными знаками. Медведицы не было, и вряд ли можно было ждать ее скоро, а между тем, по положению луны, мы заключили, что домашние могли уже разойтись спать, и наше отсутствие могло быть замечено; к тому же Соня сильно продрогла, и мы повернули скорее домой. К счастью, публика еще не ушла с балкона, и нам удалось задним ходом незаметно пробраться в спальни и улечься в кровати, а Соня попросила девушку высушить до утра одежду и не говорить об этом никому.

Под конец лета приехал отец, чтобы поохотиться несколько дней и забрать нас в Петербург. Как всегда, отец начал капризничать за обедом: и это ему невкусно, и то ему скверно, и как ни старались хозяева ему угодить, это им никак не удавалось, хотя он все-таки кухаркину стряпню ел очень исправно. Ездил он с Колей на охоту и привозил тетеревов, уток и бекасов.

Наконец, мы собрались и отправились прямо на Псковский вокзал и в Петербург.

Зимой, в отплату, мама добилась от отца согласия на приглашение Окуневых в Петербург, кажется, под рождественские праздники, но все-таки не обошлось опять без капризов и грубых выходок отца, так что они скоро уехали обратно.*

На следующее лето мать опять уговорила отца согласиться на нашу поездку в деревню родственников Окуневых, Лазаревых-Станищевых. Опять побуждением матери было желание избежать найма дорогой дачи и поездок с визитами к высокопоставленным родственникам.

Там в деревенской обстановке мы с Соней рыскали по окрестностям, и одновременно я охотился. Приезжал также и отец на короткое время поохотиться по окрестностям, по лесам и болотам.

Кажется, в 1864 г., осенью, граф Бобринский ушел с губернаторского поста, и новый губернатор Скарятин тотчас же потребовал у отца очищения казенной квартиры. Отец нанял квартиру в доме своего товарища по полку, Федора Ивановича Труссона, часто бывавшего у нас и очень любимого нами всеми. Кстати, он всегда называл Соню «мрачной девицей», потому что она при нем (как и вообще при гостях) редко обнаруживала веселость и разговорчивость. Дом этот был на Ново-Исаакиевской улице. Учение Маши и Сони шло попрежнему с домашним учителем Кондыревым; кроме того, они обучались музыке у ученика консерватории Губицкого. Как много ни тратилось в продолжение нескольких лет на учение музыки, но ни у Маши, ни у Сони

* Забыл упомянуть, что еще летом у Окуневых мы — я, Соня и Валя Ходкевич—зачитывались романами Майн-Рида, привезенными Валей, а в следующую зиму перечитали с Соней все остальные его романы. Вечерами, когда отца не было дома, мы порой забирались в темный угловой коридор, ведущий в канцелярию, и разыгрывали сцены охоты за индейцами; раз как-то даже развели костер из щепок на полу и чуть было не сожгли пол и угол двери, но успели спохватиться во-время и загладить следы.

не было музыкального слуха, да и охоты к музыке, и все расходы пропали даром.

Последующие лета мы проводили на дачах; одно — в Лигове, другое — в третьем Парголове. Летом я также проводил время с Соней, то за рыбной ловлей, а порой за чтением путешествий. Зимою же продолжали ходить на каток на Неву.

VI.

Скоро Скарятин был назначен гофмаршалом наследника перед его бракосочетанием с Дагмарой * и переехал в Аничков дворец. Отец, благодаря содействию дяди, Бориса Алексеевича, а также князя Суворова, Петербургского генерал-губернатора, назначен был губернатором Петербургской губернии. Конечно, мы сейчас же переехали в казенный дом, довольно роскошно отделанный Скарятиным. В это время сестра Мария, достигшая 17-ти лет, представляла девицу, которую отец подумывал уже вывозить в общество и потому завел у нас еженедельные «журфиксы» с танцами (как водилось в то время). В это же время матери нашей приходилось исполнять желание отца — появляться в большом свете, делать визиты высокопоставленным родственникам; между прочими — приезжавшей в Петербург тетке отца, статс-даме Марье Алексеевне Крыжановской, родной сестре Бориса Алексеевича, к которой отец возил и меня с братом. Пришлось также матери ездить с поздравлениями в день именин к последней графине Разумовской; ей пришлось быть у Разумовской в момент посещения той Александром II.

Мать очень неловко себя чувствовала в этих случаях и, вероятно, производила впечатление провинциалки, что не ускользало от внимания отца и сильно его раздражало. Это служило поводом к раздорам и грубым выходкам с его сто-

* Марией Федоровной.

роны, что было крайне неприятно нам, и в особенности восстановляло Соню против отца. Кроме того, еще чаще происходили сцены по поводу того или другого кушанья, приходившегося ему не по вкусу, что ставилось на счет матери; он говорил ей грубости, не стесняясь присутствием прислуги и нас: мать во всех этих случаях старалась отмалчиваться.

Дядя наш, Петр Николаевич, по возвращении из Китая получил место генерального консула в Генуе, куда перевез свою огромную коллекцию китайских редкостей; однако, он скоро заболел очень тяжело и для лечения переехал в Женеву, заняв квартиру в одном доме и рядом с квартирой декабриста В. А. Поджио. Вот этот Поджио в 1865 г. дал знать телеграммой отцу, что Петр Николаевич опасно болен. Мать быстро собралась и выехала, чтобы ухаживать за ним, взяв с собой Соню, любимицу Петра Николаевича. У Поджио оказалась дочь, ровесница Соне, и Соня с ней сблизилась; вероятно, проводила с ней большую часть времени и снялась вдвоем, обнявшись (карточка эта сохранилась у меня. Кроме этой карточки есть еще другая, снятая одновременно, признанная подругами Сони за лучшую, на которой она снята облокотившись на стол и подпирая лицо правой рукой,* пересняты в России).

Дядя был очень обрадован приездом матери и выразил желание также видеть отца; мать вызвала его телеграммой, но он уже не застал брата в живых.

После похорон брата в Женеве отец ездил в Геную ликвидировать квартиру брата и забрал всю роскошную обстановку и китайские редкости в Петербург.

Мы с Соней по зимам продолжали ходить каждое воскресенье и праздник на английский каток на Неве, а на «журфиксах» мы с ней прохаживались между публикой, или, большей частью, сидя в сторонке, язвительно критиковали

---

* Копии их есть в Музеях Революции в Москве и Ленинграде.



С. Перовская и дочь Поджио в Женеве (1865 г.).



С. Перовская (1865 г.).

расфранченных и декольтированных барышень. Ни на каких других балах Соня не была, а после, более взрослая, — и подавно, так что замечание об этом в биографии Аншнова и других неверно. Как я уже раньше упомянул, несмотря на продолжительные траты времени на обучение танцам, ни я, ни Соня не научились и не любили танцовать. Соня в это время довольно часто видалась с дочерью полковника генерального штаба Квашнина-Самарина и бывала у нее; летом же на каникулах мы жили на даче и проводили время вместе.

Но вот 4 апреля 1866 г. раздался выстрел Каракозова. Пошли иллюминации, всякие демонстрации и адреса, часть которых отец тоже возил во дворец. К осени генерал-губернатор Суворов был смещен, а за ним и отец наш был переведен в совет при министре внутренних дел. Губернатором был назначен военный генерал Левашов и, почти одновременно, Трепов — градоначальником.

Пришлось выбираться из казенной квартиры. Отец нанял довольно большую квартиру во втором этаже дома Пономарева, на углу площади перед Семеновским мостом и набережной Фонтанки. Квартира эта долго пустовала, и отцу пришлось нанимать мастеров, чтобы сделать довольно крупный ремонт. Как раз в эту осень (1866 г.) я перешел уже в VII класс, и потому проводил время с Соней только на коньках, а у нее прекратились занятия с учителем Кондыревым.

На лето мать энергично воспротивилась нанимать дачу, так как отец был сильно в долгах, что он и сам сознавал, и уговорила его отпустить ее с дочерьми в Крым в имение Кильбурун, перешедшее к отцу от брата Петра Николаевича. Отец остался распродавать китайские редкости и почти всю мебель, так как мать решила оставаться в Крыму и на зиму.

Еще весной, до отъезда матери, я сдал выпускные экзамены, не исключая и латинского, которым я совсем не занимался, и получил аттестат, благодаря содействию дирек-

тора Александра Николаевича Беляева, давшего мне этим возможность поступить в университет.

Этот факт настолько характеризует совершенно незаурядного по тому времени директора гимназии, что я не могу удержаться, чтобы не рассказать подробно об этом. Когда я был уже в VI классе (1866 г.), министром народного просвещения был назначен граф Д. Толстой, и классицизм пошел свирепствовать по России. Сам Толстой побывал во всех Петербургских гимназиях на уроках латинского языка, а затем посылал во все гимназии контролеров по преподаванию древних языков. К нам явился однажды доцент университета Лапшин, необыкновенно антипатичная рожа. У нас переводили Саллюстия. Вызвал он меня: я, конечно, стал очень плохо переводить; попалось мне слово *collis*; я встал втупик; * сзади подсказывают чуть слышно: «холм», но мне послышалось «кол» — я и брякнул. «Ну, садитесь! Вам следует поставить кол, и не видать вам аттестата как своих ушей». Директор метал на меня молниеносные взгляды. На следующий год, когда я перешел в последний, VII, класс, к концу года стало известно, что на выпускных экзаменах будет у нас тот же Лапшин. Я был уверен, что Лапшин, конечно, вспомнит обо мне, сдержит свое слово и не пропустит меня в университет; следовательно, мне не за чем являться на экзамен латинского языка.

Надумал было я итти в казаки, имея в виду, что я получу землю и буду заниматься хлебопашеством, а в случае войны, пойду защищать отечество. Сказал я об этом отцу, прибавив еще, что для того, чтобы иметь право выбора, я думаю сначала поступить в школу кавалерийских подпрапорщиков. Отец был против этого; говорил, что это было хорошо в прежние времена итти на военную

* Мне в голову не пришло французское слово *colline*.

службу, а теперь есть более почетные специальности. «Впрочем, это дело твое, делай, как знаешь.» Я сходил даже в канцелярию этой школы и узнал об условиях поступления. Между тем к отцу в это время несколько раз приходил доктор Хруневич, бывший последнее время домашним врачом у Василия Алексеевича Перовского, незадолго умершего в Крыму. * В одно из посещений этого Хруневича, отец с досадой рассказал ему о моем намерении итти в казаки. Тот с чувством стал отговаривать меня от этого, живо рисуя безотрадную картину захолустной жизни военщины. Это сильно подействовало на меня, и я, охладев к своему плану, не знал, как быть дальше.

В гимназии как-то, в отсутствие одного учителя, пришел к нам в класс директор и стал расспрашивать, кто куда метит по окончании гимназии. Когда дошла очередь до меня, и я сказал, что думаю итти в казаки, то он возму-

---

* Он рассказывал отцу, что, будучи врачом, был лишен прав (за польское восстание) и послан солдатом в одну из маленьких восточных крепостей. В этой крепости был лазарет, одно время переполненный больными солдатами; смертность среди них была ужасающая. Василий Алексеевич запросил у начальствующих лиц и получил от них совершенно исключительные по глупости ответы (об этом читал я как-то давно в «Русской Старине»). Тогда он приехал сам, чтобы лично удостовериться, в чем дело. Обходя палаты лазарета, он увидал в одной из них солдата Хруневича; на его вопрос, зачем он тут, оторопелое начальство отвечало, что это поляк, врач, разжалованный, прикомандирован к лазарету для помощи. Василий Алексеевич задал и ему вопрос о причине такой смертности. Хруневич ответил, что это немудрено, потому что в лазарете нет даже самых необходимых медикаментов; так, например, вместо хинина получена сода. Василий Алексеевич, возмущенный, воскликнул: — «Хорошо! ты будешь теперь за старшего, а они,— указывая на дрожащих от страха докторов,— будут твоими подчиненными! и сейчас же, за мой счет, выписывай все, что нужно, для лечения». Затем он скоро выхлопотал Хруневичу восстановление в правах и под конец своей службы сделал его своим домашним врачом.

щенным голосом стал отговаривать меня от этого и советовал прежде всего думать о приобретении научных знаний и итти в университет. — «Но мне же, по словам Лапшина, не видать аттестата, как своих ушей», — сказал я. — «Ну, все-таки подготовьтесь сколько возможно и приходите на экзамен.» — «Хорошо, — говорю, — я приду, только боюсь, что провалюсь со скандалом и вам только доставлю неприятность.» — «Ну, все-таки непременно приходите!»

По окончании занятий нам предоставлено было директором сделать самим расписание экзаменов, лишь бы только они все были закончены к сроку. Мы представили такое расписание, поставив закон божий первым, а латинский — последним. По закону божьему, хоть я в последние года ничего не делал, но к экзамену отзубрил все на славу и сдал удовлетворительно, а большинство других предметов, в особенности математические, на весьма удовлетворительно. Наконец, наступил последний экзамен — латинского языка. Экзамены происходили в актовом зале, из которого шла дверь в комнаты директора. Долго мы ждали, повеся носы, Лапшина. Наконец, выходит директор и с веселой улыбкой объявляет: — «Ну, господа, поздравляю! Лапшин болен дизентерией и не будет». Конечно общий восторг был ответом. Наконец, вошли учителя; но едва вызвали одного, как раздался звонок швейцара, возвещающий о прибытии попечителя округа И. Д. Делянова. Директор побежал встречать. Войдя и поздоровавшись с учителями, Делянов обратился к директору и попросил его вызвать самого лучшего, среднего и худшего. Директор, не будь плох, с расстановкой вызвал трех самых лучших. Начался экзамен, но и лучшие не особенно блестяще отвечали. Делянов ерзал на стуле и скоро встал, сказав громко: «Очевидно из латыни ваша гимназия будет последней, хотя, — прибавил он в утешение, — из математических наук она вышла первой». После этого он распрощался и ушел к общему облегчению. Начал затем директор

вызывать по одному и поглядывает на меня: я сижу ни жив, ни мертв. Уже часы показывают далеко за три часа. Директор пошел в свои комнаты. Оттуда послышался звон посуды. Вышел он, оставив дверь открытой, и нам представился стол, покрытый скатертью и уставленный бутылками и посудой. — «Ну, господа, — сказал директор, обращаясь к учителям, — уже время отдохнуть и закусить! Давайте, сделаем перерыв. Ну-ка, на шабаш, Перовский, идите-ка сюда»! Я выхожу и по билету начинаю скандировать (декламировать) Виргилия (одну страничку успел отзубрить); затем прочитываю Саллюстия; тут уж плохо! — «Ну, знаете, господа! — восклицает директор, — невтерпежку, закусить тянет, ставьте ему тройку», и, обращаясь ко мне: — «Убирайтесь с богом!». Полетел я домой как на крыльях. Дня через три пошел я с двумя товарищами к директору. Вышел он к нам веселый, приветливо поздравлял, подавая аттестаты моим товарищам, а потом, обращаясь ко мне, спрашивает: — «Ну, что ж, идете в университет?» — «Если дадите аттестат, тогда — да!» — сказал я. — «Ну, нате, поздравляю!» и с радостной улыбкой пожал мне руку. Таким образом, этот выдающийся умом и сердцем человек спас меня от ложного шага, вероятно, непоправимо исказившего бы всю мою жизнь.

Вот еще факт, характеризующий А. Н. Беляева. Мне с IV класса до того опротивело учение закона божьего, благодаря снотворности катехизиса Филарета, а также антипатичности преподавателя, священника Опатовича, что я с V класса систематически стал удирать из класса до прихода попа и оставался в классе только к концу месяца, чтобы получить месячную тройку. Надзиратель делал мне замечания и, наконец, сообщил директору. Я был задержан на полчаса в классе. Пришел директор и, подавая мне конверт, сказал: — «Отдайте вашему отцу, можете итти». Вручил я письмо отцу; он прочел и, подавая его

мне, сказал: — «На, читай, это тебя касается!» * На другой день директор вызвал меня и спросил: — «Передали письмо отцу?» — «Да, — говорю, — передал.» — «Что же он вам сказал?» — «Он дал мне его прочесть, прибавив, что это меня касается.» — «И только?» — «Да.» — «Ну, теперь делайте как знаете, я вас трогать не буду.» Так я и делал попрежнему и никогда не имел больше тройки в месячном.

VII.

В Кильбуруне был управляющий, назначенный еще дядей Петром Николаевичем; он управлял двумя имениями и не присылал отцу ни копейки дохода. Мать сейчас же удалила его и взяла хозяйство в свои руки. Таким образом она осталась и на зиму в Кильбуруне, и обе дочери с нею. Коротали они зимние вечера за чтением книг из библиотеки деда.

Отец на зиму поселился у Энгельгардт, матери и дочери, и занимал две комнаты.

Я жил с отцом и принужден был заниматься у него в кабинете и спать там же на турецком диване. Вскоре, однако, лекции первого курса юридического факультета (на который я поступил по совету отца) мне так надоели, что я пошел слушать лекцию химии профессора Менделеева; она меня привела в такой восторг, что я решил с будущего года перейти на естественное отделение физико-математического факультета и до конца текущего учебного года ходил уже только на лекции естественных наук.

Случайно увидал я у знакомого студента-юриста С. А. Сребдольского статью Д. И. Писарева с изложением теории Дарвина «О происхождении видов»; прочтя ее с наслаждением и восторгом, я сейчас же купил полное собрание сочи-

* В письме директор сообщал отцу, что я систематически отлыниваю от занятий законом божьим.

нений Писарева, изданное Павленковым, которое я решил повезти в Крым, чтобы читать сообща с сестрами. Кроме того, я захватил туда же сочинения Льюиса, Молешотта и Дреппера на русском языке. Общее чтение происходило у нас по вечерам, а порой и днем, всегда в присутствии матери, потому что она очень любила слушать и принимала участие в разговорах по поводу прочитанного. В результате этих чтений и разговоров, у матери нашей окончательно оформились сомнения в религиозных вопросах, смутно сознаваемые раньше, так что она через год, при продаже имущества, пустила в продажу и иконы свои. Рассказывала она, как скудны были ее сведения, почерпнутые в пансионе, и как ей трудно теперь усваивать все новое, что приходится слышать. При чтении нашем она с напряженным вниманием слушала и на каждом шагу задавала вопросы, чтобы усвоить себе прочитанное.

В Кильбуруне были татарские лошади, хорошо ходившие под седлами, и было одно женское седло; сестры часто ездили верхом с большим увлечением; особенно Соня пристрастилась к верховой езде; она бесстрашно любила пускать лошадь вскачь и часто ездила на мужском седле. Я часто охотился по окрестностям за куропатками и перепелками и по горам за зайцами, при чем Соня зачастую ходила за мной следом; садясь отдохнуть, мы любовались живописными видами и иной раз подолгу беседовали на разные волновавшие нас темы.

Перейдя на естественный факультет, я стал записывать лекции Менделеева вместе с одним товарищем Павловским. Менделеев, заметив это, просил дать ему наши записи, так как они могли пригодиться ему, в виду приготовления им к изданию «Основ химии».

Однако, мое пребывание в университете прикончилось, едва я сдал переходные экзамены на второй курс. После юбилейных празднеств в университете в 1869 г. последовали

беспорядки, и я за участие в них, по университетскому суду, был уволен из университета на два месяца. Это меня так рассердило, что я решил бросить университет и перешел в технологический институт на механическое отделение.

В университете я познакомился со студентом Н. А. Курбатовым и пригласил его на лето к нам в Крым, и мы поехали вместе через Киев на Жмеринку и Одессу, по только-что построенной железной дороге. Он захватил с собой русский перевод Бюхнера «Сила и материя» (рукопись), который мы читали сообща с сестрами и мамой. Однако, Курбатову скоро наскучило сидеть в Кильбуруне, и он отправился по южному берегу в Ялту, а я в скорости принял участие в прогулке на Чатыр-Даг с целой компанией студентов и в том числе с дальним соседом нашим Максимильяном Гроттеном, технологом, курсом старше меня. Потом с этим же Гроттеном, с его старшим братом Карлом и еще одним родственником, студентом-юристом, отправились мы пешком в пещеру Кизиль-Коба, а затем верхами по всему южному берегу, вплоть до Севастополя, при чем заезжали на ночевку ко многим общим знакомым. Из Севастополя отправились мы на Бахчисарай и, наконец, напрямик через горы по домам. С ними же поехал я на почтовых перекладных лошадях до Орла, а от Орла — поездом до Петербурга.

Попрежнему пришлось зимовать в кабинете отца.

Летом 1869 г. отец приехал тоже в Крым, чтобы ликвидировать долги по закладным на имения, в виду угроз взыскания по суду. Он решил продать степное имение Никольское (5000 десятин) его арендатору, немцу Шредеру, кажется, за 49 000 рублей. Но это еще не развязывало его со всеми его долгами. Пришлось продать и Кильбурун Муравьеву, сыну декабриста. Это причинило большое горе матери, уже порядочно наладившей хозяйство. В виду этого мать решила распродать внутреннюю обстановку, но успела это сделать только частью, так как купивший имение Муравьев попро-

сил оставить ему и обстановку. Мы тоже успели кое-что распродать из мелочей в свою пользу; таким образом у каждого из нас получились деньги для расходов в Петербурге, а у матери получилась сумма, нужная на переезд с нами в Петербург. Ехать нужно было до Харькова на лошадях, а для этого у матери не хватало средств; так как нам пришлось бы на это истратить и свои деньги, мы принялись упрашивать мать, чтобы она решилась ехать пароходом на Одессу, а оттуда — по железной дороге на Киев и на Москву. Много душевной борьбы стоило матери, чтобы решиться на это; к счастью, до Севастополя погода была очень хорошая и, казалось, будет такая же и морем; однако, по отъезде от Евпатории поднялись изрядный ветер и качка. Мать все время сидела в общей каюте, бледная от страха, и ни за что не хотела ложиться, однако, до рвоты у нее не дошло. Сестра Маша отправилась заранее в каюту и ухитрилась крепко заснуть. Я и Соня чувствовали себя очень хорошо и провели большую часть ночи на палубе, любуясь картиной разбушевавшегося моря. Приехали мы в Одессу рано утром и отправились на извозчиках в гостиницу. Так как матери необходимо было хорошо отдохнуть от волнений и бессонной ночи, то мы решили остаться ночевать, а на другой день отправиться дальше. В гостинице мы узнали, что от Кременчуга до Харькова уже есть пассажирское движение, а до Кременчуга ходят только служебные поезда, на которые можно попасть по соглашению с кондукторами. Так мы и сделали, устроившись удобно в вагоне третьего класса. В том же вагоне ехали, тоже в Петербург, три девушки, с которыми мы сейчас же перезнакомились. Две из них оказались сестрами Кузнецовыми (их отец некогда держал пансион, в котором начинал учиться брат Николай); а третья — Анной Карловной Вильберг, ставшей скоро подругой Сони и ехавшей от сестры из Ялты в Петербург, чтобы учиться на женских курсах; она же примкнула впоследствии

к так называемому кружку чайковцев. Я забыл ранее упомянуть, что Соня, отчасти под влиянием статей Писарева, решила продолжать учение, взялась за повторение арифметики и порой просила меня проэкзаменовать ее; когда же решено было перебраться в Петербург, а из газет мы узнали, что с осени открываются вечерние женские курсы, по программе мужских гимназий, у Аларчина моста в здании V мужской гимназии, то Соня решила поступить на эти курсы (назывались они — аларчинскими). Преподавал там физику К. Д. Краевич, алгебру — известный Странолюбский, бывший учителем математика Софьи Ковалевской, а также Герд, известный в то время преподаватель естествознания.

Приехав в Петербург, мы принялись искать квартиру вблизи V гимназии и нашли такую, — на углу Торговой улицы и Английского проспекта. Однако, отец, приехавший из Крыма значительно позже, покончив с продажей имений, нашел эту квартиру слишком тесной и не захотел в ней жить, а поселился в отдельной маленькой квартирке на Театральной площади, против Большого театра, ныне консерватории.

Анна Карловна Вильберг наняла комнату на той же Торговой улице, вблизи нас, и мы с Соней часто ходили к ней и сообща читали, — между прочим, Тиндаля «Альпийские ледники» и роман Шпильгагена «Один в поле не воин»; а по вечерам собирались у нее и другие курсистки, с которыми Соня скоро сошлась, а именно: Александра Ивановна Корнилова (ныне по мужу Мороз), Анна Павловна Корба (ныне Прибылева) и Софья Лешерн-фон-Герцфельд. *

* Александра Ивановна Корнилова, судившаяся впоследствии по процессу 193-х и отбывавшая ссылку в Сибири, ныне еще здравствующая. Анна Павловна Корба-Прибылева, народоволка, участвовавшая в событии 1 марта 1881 г., судившаяся по процессу, тоже еще здравствует. Софья Лешерн-фон-Герцфельд судилась по процессу вместе с Осинским, отбывала каторгу в Сибири и умерла на поселении.

Мне пришлось сразу окунуться в высшую математику и одновременно работать в мастерских института по столярному и слесарному мастерству.

Отец стал болеть эту зиму и даже перестал к нам ходить на обед, а весной 1870 г. он, по совету докторов, решил ехать за границу — в Ахен. Решено было, что мать и сестра Мария поедут с ним. Соня вместе с Александрой Ивановной Корниловой, А. К. Вильберг и С. Лешерн наняли дачку в Лесном; я же с братом остались на городской квартире; нам нужно было приискать к осени другую квартиру, удобную для совместной жизни с отцом.

Я частенько ездил к Соне и иногда оставался ночевать. Раз, в одну из поездок с братом, наша компания затеяла кататься на лодках. Соня с Корниловой взяли маленькую лодку и сели на весла, а Вильберг — на руль; мы же с братом и обе сестры Кузнецовы сели на весла другой лодки, а Лешерн — на руль. Мы гребли далеко не согласно, так что Соня и Корнилова скоро с позором обогнали нас как раз близ моста, на Малой Невке, и получили в награду дружные аплодисменты публики с моста.

На этой даче приятельницы занимались общими чтениями, а Соня еще занималась по химии у проф. Энгельгардта в Лесном (как сообщила мне недавно Александра Ивановна Мороз).* Между прочим, в один из моих приездов к ним, они пустились рассказывать наперерыв, что недалеко — в Парголове — у крестьян можно дешево нанимать лошадей с седлами и кататься по окрестностям. Соня со смехом рассказывала, что ее товарки далеко не храбро пускали лошадей в галоп и вскачь, а те мне говорили, что Соня как сумасшедшая норовила все вскачь. Между прочим, Соня взяла у меня мою летнюю одежду — белую русскую рубашку и шаровары, в которых она настолько смахивала на мальчугана,

* См. ее воспоминания в журнале «Каторга и ссылка. 1926 г., № 1.

что один из их знакомых первоначально принимал ее за такового. Однако, последний месяц их житья на даче был сильно испорчен этой ездой, потому что Корнилова, довольно полная, натерла себе ссадину, превратившуюся в глубокий нарыв, и она промучилась в постели почти целый месяц. В это же лето вся компания снялась группой, которая впоследствии была дана мною в редакцию «Былого» и напечатана в 1906 г.—Соня впереди, полулежа на полу в моей рубашке и шароварах; слева на стуле — А. И. Корнилова в пиджаке и брюках; рядом с ней А. К. Вильберг сидит, а сзади стоит Софья Лешерн.



С. Л. Перовская с подругами в 1869 г. Лешерн-Герцфельд. Корнилова. Вильберг. Перовская.

VIII.

К осени мы с братом с трудом, наконец, нашли подходящую квартиру на Малой Мещанской в доме одного старовера. Квартира отделялась от улицы железной оградой с палисадником. Для отца там была довольно большая продолговатая комната, которую он перегородил занавесом на спальную и кабинет.

Вход в эту комнату был отдельный через маленькую приемную. С другой стороны передней шла дверь в небольшую комнату для Сони и Маши; из нее была дверь в комнату матери, а затем в маленькие комнатки — мою и брата; из последней шла дверь в небольшую столовую. Еще до приезда из-за границы отца с матерью и Машей мы перевезли все вещи и мебель как наши, так и отца.

Поездка отца в Ахен не принесла ему никакой пользы, и он вернулся такой же больной и крайне не в духе.

Между тем Соня, разобщенная с своими подругами и принужденная жить с сестрой в проходной комнате, была очень недовольна, хотя приятельницы ее могли к ней приходить часто, да и сама она свободно могла бывать у них. Раз мама удержала их обедать. Отец был особенно не в духе, и их веселые разговоры за обедом, а также и внешность одежды ему не понравились настолько, что он после ухода их объявил Соне, что он не желает их видеть у себя, и чтобы они больше не приходили к ней.

Такое насилие возмутило Соню до крайности, и она не желала ему подчиниться; но, признавая в то же время право отца на его квартиру, она решила нанять себе отдельную комнату. Однако, для этого ей надо было иметь документ на право жительства; такой документ мог дать только отец, так как она была еще несовершеннолетняя; поговорив предварительно с матерью, Соня пошла объясняться с отцом. Конечно, отца возмутило такое самостоятельное решение Сони; оно слишком шло вразрез с его взглядами и привычками, и потому он наотрез отказал ей, — и, вероятно, в довольно грубой форме. * Но Соня,

---

* А. И. Корнилова-Мороз в своих воспоминаниях («Каторга и Ссылка» 1926 г. № 1) говорит, что отец угрожал сестре, что не позволит ей ходить на курсы. Я думаю, что эта угроза была им

с детства проявлявшая самостоятельность и в последний год привыкшая к независимой жизни, решила немедленно уйти из дома и скрываться при помощи друзей до тех пор, пока отец не согласится дать ей вид на жительство. Так она и сделала.

Отец, вне себя, вообразил, что этот поступок Сони — результат моего влияния, напал на меня и со злостью выговаривал мне это. Мне пришла мысль прибегнуть к помощи доктора Оккеля, лечившего в то время отца. Я указывал отцу на то, что Соня, издавна привыкшая к самостоятельности и решительная, встретив такой резкий отпор с его стороны, может, чего доброго, под влиянием аффекта, решиться на самоубийство. — «Что такой исход возможен, я думаю, скажет тебе и доктор Оккель», — сказал я. «Хорошо, спрошу», — ответил отец. Приходит на другой день Оккель. Отец зовет меня и предлагает мне повторить то же самое доктору; я, конечно, повторяю, как умею, — и вдруг доктор с сердитой физиономией чуть не вскрикивает:—«Какие тут самостоятельные взгляды или убеждения могут быть у семнадцатилетней девчонки! Это — вздор, на который и обращать внимания не стоит! Советую вам, Лев Николаевич, обратиться к помощи полиции и потребовать, чтобы ее привели к вам». Отец был очень доволен тем, что встретил такую поддержку. Я пошел к Корниловым сообщить о таком печальном исходе дела; мне указали квартиру, в которой находилась сестра, и я рассказал ей о случившемся. Ее это мало смутило; она решила итти

употреблена только как средство прервать ее приятельство с такими нигилистками как Вильберг и Корнилова, ему чрезвычайно не понравившимися. Сам же он всегда очень хорошо относился к научным занятиям, и сам даже впоследствии, живя со мной, целый год с трудом одолевал Вунда «Душа человека и животных».

до конца и добиться своего. На ночь она не пришла домой. *

На другой день отец, действительно, отправился к градоначальнику Трепову и, вернувшись, повидимому, успокоился, будучи уверен, что Соню приведут к нему. Однако, на другой день вечером явился к отцу полицейский чин, и отец позвал меня. Чин начал говорить авторитетным тоном, что, конечно, я знаю хорошо, где скрывается сестра, и потому градоначальник требует, чтобы я указал это место; на мой ответ, что я этого не знаю, он подал мне лист бумаги, предложил расписаться в том, что я обязуюсь завтра явиться в канцелярию, к заведующему сыскным отделением Габерзангу, в десять часов утра, и ушел. Мама, узнав об этом, очень заволновалась, думая, что меня сейчас же арестуют и пожалуй станут применять какие-либо насилия; она пошла к отцу в кабинет и, как она потом мне рассказала, заявила ему, что она сама пойдет со мной и, если меня арестуют, не уйдет, а потребует, чтобы ее арестовали вместе со мной. Вернулась она от отца в слезах, дрожащая, так что нам с братом едва удалось ее успокоить.

На следующее утро отец послал брата нанять карету и сам поехал со мной в канцелярию градоначальника. Очевидно, он сам опасался скандала.

Габерзанга еще не было, и нам пришлось порядочно его ожидать. Когда он пришел, отец первый прошел к нему в кабинет и долго говорил с ним, как мне слышно было,

---

* Списавшись недавно с Анной Карловной Вильберг (ныне Зиновьевой), я получил от нее сообщение, что мать наша приезжала к ней чуть не ночью (без сомнения, глубоко взволновавшись отсутствием Сони на ночь). Она просила и даже требовала указать ей место, где скрывается Соня, очевидно, рассчитывая уговорить ее вернуться домой. Такое же посещение матери нашей описывает и А. И. Мороз в своих воспоминаниях (журнал «Каторга и Ссылка» 1926 г.).

по-французски; наконец, отец вышел и отправился домой в карете, а меня позвали в кабинет. Габерзанг, довольно полный, высокого роста мужчина, начал довольно слащаво излагать мне рацею говоря: «Ваша сестра, очень молоденькая и неопытная девушка, под влиянием увлечения модными идеями, приняла такое крайнее решение, но легко может попасть в сети разных беспринципных господ и таким образом разрушить всю свою жизнь. Беспокойство вашего отца естественно, и он не может согласиться на ее требование. Ваша матушка еще больше взволнована, и мне очень хотелось бы, чтобы этот инцидент был улажен благополучно и миролюбиво, в пределах вашей же семьи и без официальной огласки». Я ему тут же указал, что конец дела дороже всего обойдется именно нашей матери, чего, я уверен, и сестра моя больше всего опасается. Он рассыпался в излияниях родительской любви к детям и прочее и прочее, и опять повторил, что больше всего желал бы неофициального окончания дела; при этом, как бы мимоходом, упомянул, что ему уж раз случилось принимать участие в подобном инциденте с некоей Палицыной, которую, найдя очень скоро, ему удалось уговорить поехать к родителям и, на своих глазах, устроить их примирение с дочерью. Я ему сказал, что хорошо знаю сестру и очень боюсь, что, в случае, если дело дойдет до полиции, с ее стороны возможен какой-либо трагический поступок, который будет смертельным ударом для матери. Габерзанг, основываясь на моих словах, что Соня горячо любит свою мать, выразил мысль, что хорошо было бы, если бы мать могла повидать ее; ей, может-быть, удалось бы уговорить дочь. Я ответил ему, что сам этого хотел бы, но, конечно, это можно было бы сделать лишь в том случае, если и мать и сестра будут уверены, что не последует вмешательства полиции. Габерзанг вновь повторил, что, ради положения отца в обществе и по службе, ему

было бы крайне нежелательно давать делу официальную огласку, а потому пока, «могу вас уверить, ничего не буду предпринимать, в надежде, что дело кончится семейным образом». Затем мы любезным образом раскланялись, и я отправился домой.

Отец не позвал меня к себе и не расспрашивал. На дороге мне пришло в голову, что, очевидно, вследствие энергического наступления матери, отец сам просил Габерзанга не принимать никаких мер против меня. Поэтому у меня явилась мысль устроить свидание Сони с матерью, а Соне посоветовать, чтобы она категорическим и решительным тоном сказала матери, что ни в каком случае к отцу не вернется, полиции живой не дастся, а так или иначе покончит с собой. Я рассчитывал, что это произведет сильное впечатление на мать, и она добьется того, что отец махнет рукой и выдаст паспорт Соне. Хотя я считал, что это наилучший способ скоро добиться от отца бумаги для Сони, но надо было устроить свидание с матерью так, чтобы полиция не могла им воспользоваться, а главное — получить на это согласие Сони.

Я придумал такой способ: на другой день утром мы поехали с матерью в наемной карете к подъезду технологического института, и, оставив мать дожидаться у подъезда, я сам пошел в залы, чтобы отыскать Лермонтова (бывшего в близких отношениях с чайковцами), от которого, я был уверен, узнаю местопребывание Сони. * После этого я предполагал выйти в другие ворота института, ведущие к Загородному проспекту, сесть на извозчика и,

* От А. И. Мороз (Корниловой) я узнал недавно, что Соня в то время скрывалась у двух подруг старшей Корниловой, Веры Ивановны, — сестер Надежды и Зинаиды Карали, а от них, получив бумагу от отца, она уехала в Киев (кажется). Однако, в первое мое посещение Сони, я видел за перегородкой в числе других и Лермонтова.

быстро переговорив с Соней, вернуться в институт и точно так же, рассчитав кучера кареты, пройти опять с матерью через ворота и проехать с ней на извозчике в условленное с Соней место. В институте я действительно скоро нашел Лермонтова, но он, вместо того, чтобы сказать мне адрес сестры, чуть не бегом повел меня в пивную, против технологического института, потребовал пива и начал с перерывами и отступлениями излагать мне нравоучение, что надо помочь сестре, а отнюдь не деспоту отцу. Это меня так взбесило, что я быстро вышел, заплатив за пиво, и полетел на извозчике к Корниловым; там я застал между прочим Марка Натансона. Изложив свой план, я сказал, что мне прежде всего нужно видеть Соню, чтобы получить от нее согласие; или, по крайней мере, я просил, чтобы ее немедленно об этом запросили. Однако Натансон тоже стал говорить, что это может послужить на пользу полиции. Я продолжал настаивать, чтобы об этом сейчас же сообщили Соне, так как это ее дело — согласиться или нет. С этим я ушел, поспешив в институт, где мать довольно долго ожидала меня, и вернулся с ней домой, сказав, что Соня даст знать, если захочет видеться с нею. *

Пошли дни за днями, никакого ответа от Сони я не получал. Между тем отец, уверенный первоначально, что все-таки полиция скоро приведет Соню и разочарованный в этом, начал вновь кипятиться, нападать на мать, а меня еле терпел за обедом и даже скоро потребовал для себя отдельный обед в кабинет. Здоровье его стало сильно ухудшаться, болезнь настолько усилилась, что наконец заставила доктора Оккеля поумнеть, и он посоветовал отцу наплевать на дочь, дать ей бумагу и постараться больше об этом не думать.

---

* Я думаю, что Соне не сообщили о моем плане, потому что она наверное дала бы мне знать о своем решении.

Так отец и сделал. Он поручил брату написать удостоверение личности Сони от его имени, подписал его и отправил брата к экзекутору в министерство внутренних дел для засвидетельствования подписи. Вечером он позвал меня к себе, отдал бумагу и с раздражением сказал, чтобы Соня не появлялась больше в его доме.

За все три года, протекших после этого, до того момента, когда он взял ее на поруки, он ни разу ни одним словом не помянул об ней; но и в отношении ко мне у него заметна была черточка недоверия и охлаждения.

Я конечно с радостью полетел к Корниловым и вручил им бумагу для передачи Соне. Однако не скоро довелось мне свидеться с ней, да и матери тоже.

IX.

К весне доктор опять послал отца на воды за границу, и он поехал уже один. Мать с братом занялись сначала отысканием другой квартиры, которую довольно скоро нашли на первой роте Измайловского полка, против бань Тарасовой. Квартира была очень удобная и находилась близко от технологического института. Для отца были светлый кабинет и просторная спальня. После этого мать с братом наняли в окрестной деревне (кажется Латкино) небольшую хатку и прожили там лето вместе со старшей сестрой.

Я задумал для практики поступить на Николаевскую железную дорогу на паровоз. В виду того, что я был первокурсник, меня приняли только в кочегары. Назначили меня на товарный паровоз, предназначенный для перевозки балласта за две или три станции от Петербурга. Однако поездил я недолго, кажется неполный месяц, потому что, возвращаясь с пути поздно вечером, после постановки паровоза на ночь в круглое депо, я заметил, что дорогой потерял лампу от фонаря на тен-

дере. Очень смущенный этим, я ушел домой, и на службу больше не ходил.

Не помню точно, но кажется именно это лето, т.-е. 1871 г., Соня жила с компанией где то на Охте или дальше (в Полюстрове по словам А. И. Мороз); помню только, что ездить приходилось далеко вверх по Неве и переезжать на ялике. Домик, нанятый компанией, был расположен в саду или просто среди деревьев. * Помню, что раз я был там и застал Соню, Марка Натансона и Вернера (впоследствии известного земского статистика).

Компания, помнится, была занята переводом с немецкого первого тома «Капитала» К. Маркса; несколько страниц этого перевода сестра давала мне прочесть, но он мне не показался хорошим. Там же был у компании обыск и арест Чайковского и Натансона. Чайковского, впрочем, скоро выпустили, а Соню призывали для допроса в III отделение. **

Припоминается мне еще характерный для Сони разговор с нею, когда она жила как-то в одной комнате с Анной Карловной Вильберг. Не помню уже, по поводу чего зашел разговор о ранних браках, которые, по ее мнению, не требуются даже правильным развитием организма, которое заканчивается значительно позже — под тридцать лет или около того; а более раннее проявление половой потребности вызывается ненормальными условиями городской жизни с ее зрелищами, балетами, танцами. Во всяком случае, они служат поворотным пунктом жизни, остановкой в развитии и общественной деятельности. Вильберг поддерживала Соню. ***

---

* А. Т. Мороз (Корнилова) сообщила мне, что в Полюстрове были наняты две дачи; там жили, кроме вышеупомянутых, еще Куприянов, Николай Лопатин, Басов, Ольга Шлейснер (впоследствии жена Натансона).

** См. статью А. И. Корниловой-Мороз.

*** Впоследствии А. К. Вильберг и А. И. Корнилова уехали в Вену.

Наконец, поздно осенью отец вернулся из-за границы, но продолжал болеть, а потому жизнь была не особенно веселая.

Зимой же, помнится, я ходил повидаться с Соней, жившей за Выборгской стороне, в каком-то глухом переулке, и застал ее там с Варварой Батюшковой, * а также видел там Чайковского. Кроме того, я там увидел молодого человека очень симпатичной наружности, одетого в чуйку, какую носили в то время фабричные рабочие, и стриженого так же в кружок, по-народному; это был С. С. Синегуб, впоследствии судившийся по процессу 193-х и приговоренный к каторге.

Между прочим, кружок чайковцев занялся в эту зиму распространением лучших книг по общественным вопросам и других, закупая их у издателей и авторов в большом количестве и с большой уступкой. Часть этих книг, порой довольно большая, складывалась у меня в комнате на измайловской квартире; так, например, полное собрание сочинений Добролюбова, сборник статей Чернышевского об общинном владении, «Положение рабочего класса» Энгельса, «Азбука социальных наук» Флеровского и пр.

Когда подходило время к весне, отцу обязательно нужно было ехать на воды за границу; но он не мог уже рассчитывать на получение отпуска с сохранением содержания, и потому у него не было средств ехать. Вот этим обстоятельством мать воспользовалась и предложила отцу небольшую сумму, тысяч шесть или восемь, которую она получила года два-три тому назад по наследству от своей умершей матери. Взамен этой суммы отец должен был перевести на имя матери единственное оставшееся у него имение Приморское, близ Севастополя. Этим способом мать хотела спасти это имение от продажи за долги, так как отец,

---

* Впослевдствии судишейся по процессу 50-ти.

в противном случае, нуждаясь в деньгах на поездку за границу, заложил бы его за ничтожную сумму, а к концу срока, конечно, не имел бы возможности погасить закладную, и имение пошло бы с торгов за бесценок. Отец долго упирался, хотел, чтобы мать отдала ему свои деньги без всяких условий; но мать, конечно, на это не соглашалась, и мы со своей стороны всячески уговаривали мать не делать этого и настаивать на своем. В конце концов отец согласился и послал телеграмму в Симферополь доктору Брунсу и доверенность на совершение купчей крепости с матерью; вскоре после этого он собрался и уехал за границу. * Мать тоже собралась скоро и уехала с братом в Крым. Там ей пришлось истратить все остальные свои средства на расходы по уплате недоимок по имению и на совершение купчей крепости, а жить пока им пришлось в нанятом по соседству доме, на самом взморье, в Учкуевке. Домишко этот был настолько плох, что оставаться в нем на зиму не было возможности; надо было строить в Приморском какой-нибудь домик, и для этого пришлось призанять небольшую сумму по векселю и за большие проценты.

На лето я тоже приехал к матери; ехал я с товарищем Николаем Ивановичем Драго, родители которого жили в Одессе. Ехали мы через Киев на Жмеринку и Одессу. Сошелся я также с Александром Меркурьевичем Эндоуровым, студентом химического отделения технологического института. Мы условились на следующий учебный год поселиться вместе на общей квартире. В Одессе я остановился до отхода парохода на Севастополь у родных Драго.

Жизнь Сони в это время шла отдельно, и хотя потом, при свидании, она рассказывала мне подробности своей жизни, но у меня мало что удержалось в памяти. Помню

---

* В этот раз я просил его привезти мне все Элпидинское издание сочинений Н. Г. Чернышевского, и он исполнил это.

только, что она ездила в Едимново к учительнице земской школы Александре Яковлевне Ободовской,* которая была тоже членом кружка чайковцев и привлекалась впоследствии по процессу 193-х; Соня помогала ей в школе, а также, сколько мне помнится, работала в деревнях по оспоприививанию.

X.

На следующий (1871—1872) учебный год, осенью, я, Драго и Эндоуров поселились на общей квартире вместе с Железняком, тоже студентом-химиком. Однако, мы скоро почувствовали рознь с этим жильцом, главным образом из-за жены его. Между тем, на Казачьем переулке образовалась тоже общая квартира, в которой жили двое братьев Смольяниновых, Николай Иванович Владыкин и Николай Абрамович Литошенко.** Те тоже почувствовали неудачу сожительства, и вот мы скоро сговорились обменяться квартирами. Мы, т.-е. я, Драго и Эндоуров, перебрались на Казачий переулок к Владыкину и Литошенко, а Смольяниновы преребрались к Железняку. У Н. И. Владыкина была еще сестра Александра Ивановна, кончившая в Новочеркасске гимназию и потом через год ставшая моей женой. У Литошенко была сестра Раиса Абрамовна и малолетний брат Алеша. На новой квартире жизнь пошла согласная; устраивались общие чтения и происходили споры по поводу прочитанного. Помнится, чтение сочинений Ф. Лассаля действовало особенно возбуждающе. Часто приходил к нам еще товарищ, Зубаревский, который нанял комнату этажом выше нас; это был хохол, выдающихся способностей, но большой лентяй и страстный любитель театра; мы про-

* По словам А. И. Корниловой-Мороз, это могло быть вероятно уже по получении Соней вида на жительство от отца.

** Литошенко привлекался по процессу 193-х. Впоследствии был председателем земской управы в одном из уездов Харьковской губернии и умер от отравления несвежими рыбными консервами.

звали его мамашей, а химика Василия Варзара (автора «Хитрой механики») мы прозвали папашей. Изредка заходила к нам Соня. Как то приехала к сестре своей, художнице Л. М. Бем, младшая ее сестра Александра Меркурьевна Эндоурова, бывшая уже учительницей в земской школе в имении отца; Соня слышала, вероятно, о ней и захотела познакомиться. Мы устроили им свидание в нашей квартире, и Соня потом говорила мне, что Эндоурова ей очень понравилась своим самостоятельным образом мысли.

На лето наша квартира разъехалась по родным. Я поехал к матери в Приморское, а Соня была в отъезде по делам кружка и, кажется, занималась фельдшерством в деревне у знакомого доктора (фамилии не помню).

На осень поселиться опять вместе мы уже не сговорились, так что я нанял отдельную комнату. Владыкин, или, как мы его называли, «поп», поселился тоже отдельно со своей сестрой. Драго и Эндоуров и еще кто-то третий устроились на общей квартире, предназначавшейся для занятий с рабочими. Я часто ходил к ним и заставал там нередко М. Куприянова и Дмитрия Александровича Клеменца, * чрезвычайно заинтересовывавшего нас своими

---

* Михаил Куприянов страдал сильным катаром желудка и умер в предварилке еще до суда 193-х.

Д. А. Клеменц, соредактор журнала «Земля и Воля», был вскоре арестован и просидел, кажется в крепости, до осени 1881 г., когда отправлен был в административную ссылку в восточную Сибирь, в Минусинск, на пять лет, потом участвовал во многих научных экспедициях по Монголии. Вернувшись в Петербург, работал по устройству этнографического музея в Академии Наук и музея Александра III. Умер в Москве в 1914 г.

На той же квартире мне довелось встретить однажды Ярцева, довольно состоятельного помещика (кажется) Тверской губернии, на которого чайковцы возлагали большие надежды, но, будучи вскоре арестованным, он стал откровенно выкладывать все, что знал, хотя, к счастью, еще знал немного. Он скоро был выпущен и с ним порваны были всякие связи.

полными юмора рассказами. Туда же однажды пришел донской казак Обухов, только что выпущенный из III отделения, хороший знакомый Владыкина.

Однако месяца через три, или даже раньше, жить в этой квартире оказалась почему-то неудобно; понадобилось ее переменить, и мне предложили присоединиться. Нашли мы дешевую квартиру на Лиговке, в только что отстроенном доме. Владыкин тоже присоединился к нам. Мебели у нас не было никакой, за исключением большого стола и моего столярного верстака, как-то уцелевшего, да нескольких табуреток, занятых у старшего дворника. Таким образом мы спали на полу, только «поп» ухитрялся спать на верстаке, хотя был выше нас всех ростом.

К нам стали ходить рабочие, и мы устраивали с ними занятия по тем предметам, которые они желали, а также чтение различных статей, с разговорами по поводу прочитанного. Помнится, ходили к нам по преимуществу ткачи, а также два слесаря, Лавров и Орлов, выделявшиеся развитием и начитанностью. Последние вскоре, однако, были арестованы, а по освобождении уехали на родину, и мы потеряли их из вида.

В то время сестра «попа», А. И. Владыкина, и сестра Литошенко, Раиса Абрамовна, поселились вдвоем в одной комнате неподалеку от нас. Припоминается мне, что как-то раз, зайдя к ним, я застал у них «попа» и еще молодого человека, выше среднего роста, с худощаво-продолговатым лицом, пристально глядевшего на меня. Когда он ушел, «поп» рассказал, что это студент путей сообщения Осинский, знакомый их по Дону; что у него есть сестра, очень хорошая девушка, кончившая гимназию с А. И. Владыкиной и стремящаяся в Петербург, но будто брат затрудняется взять ее с собой, потому что он получает семьдесят рублей, а этой суммы не хватит на двоих. Владыкины ему возражали и приводили в доказательство меня,

получавшего от отца сорок рублей, из которых половина уходила на других. Не прошло много времени, как, по словам Владыкиных, этот Осинский совершенно изменился и впоследствии стал выдающимся революционером, погибшим на эшафоте.

Во время житья на Лиговке, между прочим, приходила к нам также Александра Ивановна Корнилова заниматься с рабочими. Случалось мне ходить в Зоологический музей Академии наук и давать объяснения по теории Дарвина изрядной кучке рабочих, преимущественно ткачей.

Приходила изредка и Соня. Вообще были частые сношения с чайковцами. Бывал у нас Анатолий Иванович Сердюков, арестованный и недавно выпущенный.*

Помнится, что Марк Натансон находился в ссылке, кажется, в Шенкурске. Чайковцы задумали устроить его бегство. Для этой цели решено было отправить к нему Соню, снабдив ее нужной суммой. Утром пришел к нам Сердюков, а скоро и Соня с Корниловой; Соня была одета подорожному. Сердюков снабдил ее деньгами, и она отправилась, вероятно, на поезд. Скоро она вернулась из

---

* Это был человек выдающегося ума и высокой нравственности. Даже прокурор Фукс почувствовал к нему уважение за его прямодушие. Сердюков рассказывал, что прокурор совсем не придирался к нему на допросах, после того как Сердюков прямо попросил его не задавать ему таких вопросов, на которые, по совести, без лжи отвечать нельзя. Я ясно помню, как он рассказывал нам — мне и Александру Эндоурову, — что тот же прокурор Фукс по окончании допроса и освобождении его настоятельно советовал ему выехать куда-нибудь из Петербурга, чтобы разъединиться со своими неблагонадежными приятелями, иначе пришлось бы сделать это принудительно. Точно такое же импонирующее впечатление произвел Сердюков даже на шефа жандармов Мезенцева. В это время Сердюков, женившийся недавно на Любови Ивановне Корниловой, занимал с нею квартирку из двух комнат где-то на Песках, а оттуда был скоро выслан с женой (сколько мне ясно помнится в Старую Руссу).

путешествия, и на мой вопрос сказала, что Натансон отказался бежать и переходить на нелегальное положение.

В это же приблизительно время пришел к нам как-то студент-медик Гинзбург * и предложил участвовать в образовании кружка для содействия П. Л. Лаврову в издании журнала «Вперед», доставке его в Россию и его распространении. Мы все четверо изъявили согласие и условились притти на одну студенческую квартиру, где будет выработана программа и устав кружка и все подробности организации. Помнится, приглашены были еще Н. А. Литошенко, В. Л. Варзар, Антон Таксис, и кроме того там оказались еще Иванов (медик) и, кажется, Карпинский (юрист). Помнится, что вскоре получен был первый транспорт с первым номером журнала «Вперед»; но с ним вышел юмористический казус. Решено было, что А. М. Эндоуров пойдет на товарную станцию Николаевской железной дороги получать по накладной эту кладь и, нагрузив ее на ломового извозчика, повезет ее на квартиру Н. А. Литошенко. Там ее будут ожидать несколько человек, чтобы быстро распаковать и растаскать по различным квартирам. Человека два должны были следить на вокзале и около, не будет ли засады и не будет ли арестован Эндоуров. Когда благополучно втащили весь груз в комнату Литошенко и поспешно распаковали его, то, к крайнему изумлению всех, в тюках оказался вместо книжек «Вперед» всякий хлам из грязной рвани, кирпичей и соломы. Подумалось нам, что это дело тайной полиции. Необходимо было как можно скорее уничтожить все лишнее до ночи или во всяком случае до утра. Никакого другого способа нельзя было придумать, как только затопить печь в комнате и все сжечь, а кирпичи и

* Конечно, ни имени ни отчества не помню, но в 1915 или 1916 г. я был у него на квартире вместе с А. М. Эндоуровым, он был врачом в больнице около Технологического института.

камни повытаскать понемногу на задний двор или в Лиговку, тогда еще не засыпанную. Такая операция заняла всю ночь, и когда дело уже шло к концу и опасность миновала, всех обуяли смех и веселье. Никакого нашествия полиции, однако, не последовало, и мы недоумевали, каким образом могло произойти такое превращение груза. Но из полученного от нашего контрабандиста письма выяснилось, что другая компания контрабандистов, враждовавшая с первой, предполагая в тюках богатую кладь, ухитрилась на одной из продолжительных остановок выкрасть содержимое и заменить таким мусором. Контрабандист, понесший значительный расход, сам сознался в этом, объявив, что книги уже находятся в Риге, и приглашал приехать и получить их, по уплате небольшой суммы на покрытие издержек. Однако, мы решили не рисковать, чтобы не попасть в действительную, на этот раз, ловушку, и стали хлопотать о новом издании журнала и о доставке его более надежным способом.

Незадолго до рождественских праздников, не помню уже по какому поводу, пришлось нам ликвидировать нашу квартиру. Эндоуров, по настоятельной просьбе своего родственника Ильина, принял заведывание его картографическим заведением, помещавшимся в Коломне, в Столярном переулке, и переехал туда. Владыкин поехал с сестрой к матери в Новочеркасск, а я с Драго наняли комнату на Торговой улице.

Как всегда под праздник, жандармерия зашевелилась, и пошли массовые аресты. Произведен был обыск и у Корниловых, где оказалась Соня, после чего она была арестована вместе с двумя Корниловыми — Александрой и Любовью.* Арестованы были также Судзиловские, брат и сестра, и много других, но уже не помню, кто именно.

В один прекрасный вечер, когда Драго не было дома, явилась к нам компания, состоявшая из жандармского капи-

---

* По словам А. И. Корниловой, это было 5 января 1874 г.

тана Кононова, товарища прокурора и полиции, и приступила к обыску. Кажется, мальчугану Степе, брату Драго, удалось выбежать и дать знать брату об обыске. У меня была пропасть книг, которые, за неимением шкафа, были просто свалены в углу комнаты на полу, и компании пришлось, с явной досадой, перелистывать все. Нашли коечто запрещенное, мемуары Юрской федерации по-французски; но ни бумаг, ни писем никаких не нашли, проработали же добрых три часа. Ушли, наконец, оставив полицейского, который должен был ждать возвращения Драго.

Соня и Корниловы заключены были в III отделении.

Когда вернулся Драго, полицейский бросился к нему и, не дозволив даже подходить к вещам, повез его в часть.

Младшая Корнилова, Надежда Ивановна, снабжала меня бельем, одеждой и обувью для Сони, и я носил все это в III отделение для передачи сестре; в особенности, надо было заменить ей платье и обувь, так как она была арестована в смазных мужских сапогах и в платье с истрепанным подолом, потому что ходить ей приходилось за Невскую заставу пешком. В личных же расходах Соня была строгой ригористкой. Кроме того, нужно было носить ей книги. Когда я спросил офицера, принимавшего вещи, нельзя ли получить свидание с снстрой, он, махнув рукой, сказал, что нечего и думать. Любовь Ивановну Корнилову довольно скоро выпустили, но за ней неотступно шлялся, да еще шлепал кожаными галошами, какой-то шпик, так что ей пришлось обратиться с протестом в III отделение.

Тем временем, Сердюков сообщил мне и Эндоурову, что с арестованными в III отделении налажены сношения через подкупленного солдатика-жандарма;* а через некоторое время он же объявил мне и Эндоурову, что, с общего согла-

* См. статью А. М. Корниловой-Мороз, часть вторая, стр. 28. Журнал «Каторга и ссылка» 1926 г. № 1.

сия заключенных и свободных, решено принять нас обоих в члены кружка и передать нам средства сношения с иногородними, а также пути получения нелегальных изданий из-за границы. Это необходимо было в виду того, что А. И. Сердюкову угрожала высылка, да за ним неотступно следили, а Петру Алексеевичу Кропоткину угрожал арест.

Мы заняли на вечер комнату Варзара, и туда пришли Сердюков и Кропоткин. Нечего говорить, какое обаятельное впечатление произвел на нас обоих Кропоткин, которого мы увидели впервые. Решено было, чтобы я занимался преимущественно связями с другими городами и с местными рабочими, а Эндоуров взял на себя сношения с железнодорожным истопником на Варшавской дороге, через которого получалась до сих пор нелегальщина. Кроме того, Сердюков на другой день познакомил нас с Грибоедовым, членом кружка, служившим в обществе взаимного кредита и хранившим кассу кружка. После этого мы заявили лавровцам о выходе из их кружка, но обещали всякое содействие.

Оказалось, что денег в нашей кассе было очень мало и необходимо было подумать о средствах их увеличения. В это время была объявлена подписка на третий дворянский выигрышный заем, и Грибоедов посоветовал подписаться на все имеющиеся деньги. Нужно было внести по подписке по 18 рублей за каждый билет, при чем необходимо было собрать несколько подписчиков, чтобы каждому подписаться на небольшое число билетов. В государственном банке стояла целая толпа подписчиков, и приходилось ждать очереди по несколько часов. Квитанции быстро поднялись в цене, и нам удалось таким образом удвоить затраченную сумму.

А. И. Сердюков познакомил меня со своим близким знакомым, занимавшим маленькую квартирку в две комнатки во дворе большого дома с воротами на Семеновскую пло-

щадь и на Кабинетскую улицу. У него всегда можно было занять квартиру для свидания с приезжими и для собраний, потому что он с утра уходил на службу и возвращался поздно. Он дал мне второй ключ.

Между тем Кропоткин был арестован, а Сердюкова сослали. Любовь Ивановна Корнилова, с которой он незадолго перед этим венчался, поехала с ним. Сношения с сидящими через жандарма перешли, кажется, к Ларисе Васильевне Синегуб.

За это время мы потерпели неудачу с одним транспортом книг, который был препровожден нашим агентом в Кенигсберге впервые с одним капитаном датского торгового парохода, который пристал на Неве против Горного института. Эндоуров принужден был раза два ходить, пока удалось увидеть капитана, и тот, с заметным смущением, объявил, что, опасаясь строгого досмотра, спустил груз на дно. Оставался лишь один путь — по Варшавской железной дороге при посредстве истопника.* Ходить к нему пришлось мне, так как посылку можно было прятать лишь у моего товарища по университету, Сергея Алексеевича Сребдольского. Попытку продолжать сношения с выпущенными из тюрьмы синегубовскими рабочими пришлось оставить, потому что они оказались сильно запуганными.

Между тем получена была потрясающая весть о самоотравлении А. И. Сердюкова, никак не могу припомнить — от кого. Трудно было примириться с такой утратой. Правда, он был в грустном настроении и, как-то, придя к Эндоурову, высказывал мысль, что движение молодежи будет разрушено, потому что все почти наилучшие и выдающиеся уже выхвачены из жизни и вряд ли сохранится что-либо для будущего.

---

* Он перевозил зараз небольшое количество брошюр, закладывая их кругом раковины клозета старого образца, под неподвижной доской сиденья.

XI.

Прошло не меньше шести месяцев с момента заключения Сони, и она уже не призывалась к допросам. Не помню, кому пришла в голову мысль прибегнуть к помощи отца. Соня выразила согласие. Я пошел к нему со смущенным сердцем, потому что последнее время он смотрел на меня с явной подозрительностью. Рассказал я ему, что Соня сидит уже очень долго, и нет надежды на ее освобождение. Очевидно острота чувства неприязни к Соне значительно сгладилась, и он, не расспрашивая меня о причине ее ареста, объявил, что пойдет к Шувалову, шефу жандармов. Я остался у отца ожидать его возвращения; ожидать пришлось довольно долго. Наконец, он вернулся и рассказал, что Шувалов, его товарищ по полку во время оно, принял его любезно, вызвал какого-то офицера из III отделения и приказал сделать все, что можно. Офицер просил отца приехать на следующий день в III отделение. На другой день я снова ожидал возвращения отца. Вернувшись один, он рассказал, что довольно долго пришлось говорить с жандармами; ему указывали, в каком ужасном виде была сестра при аресте. Отец сознался, что он им высказал свое мнение о моей главной роли в совращении сестры. Затем привели Соню; отец признался, что не мог удержаться от слез — и Соня тоже. Однако, его просили подождать еще денек — другой извещения, когда приехать за дочерью.*

Дня через два приехал офицер и пригласил отца пожаловать на другой день за дочерью. Я, конечно, с нетерпением сидел у отца в ожидании, — и, наконец, мы обнялись с сестрой. Соня мне потом рассказывала, что отец распла-

* Очевидно, жандармы надеялись, что сестра, под влиянием свидания с отцом, что-нибудь им проболтает.

кался горькими слезами при свидании и вызвал слезы у нее.

Рассказывала сестра, какое легкое сиденье было в III отделении. Благодаря подкупленному жандарму, им удавалось на несколько минут сходиться друг с другом и переговариваться, а также переписываться с волей. Таким образом, рассказы о том, что сестра сидела в крепости, совершенно неверны. А также фантастические рассказы глубокого старика Берви (Флеровский) о всемогуществе Софии Перовской — нелепы. Она могла только посетить и его в камере.

Вечерами отец постоянно отправлялся со своей сожительницей на острова, по разным увеселительным заведениям, и, таким образом, сестра была свободна до глубокой ночи, а также по утрам, пока отец спал до часу дня и позже.

В первое время мне приходилось устраивать сестре на безопасной квартире, о которой я говорил выше, свидания с членами кружка, правда, немногими еще свободными или только-что выпущенными, а также с приезжающими. А по вечерам очень поздно мы сидели у отца в кабинете и читали что-либо. В кабинете же на турецком диване Соне приходилось спать.

Приезжали из Одессы Жолтоновский и Виктор Костюрин, из кружка Волховского. Приезжал и Сергей Кравчинский, много рассказывавший о своих похождениях в деревне с Рогачевым в качестве пильщиков. Приезжал тоже с юга кто-то (кажется М. Ф. Фроленко) просить довольно крупную сумму на покупку револьверов, для оказания сопротивления при обысках и арестах. * Помнится, что Соня высказалась отрицательно на том основании, что при этом пострадают, в первую голову, солдаты, наименее сознатель-

---

* По словам Фроленко он приезжал в 1876 г. в Петербург к Натансону, по поручению киевских бунтарей, за оружием, которое нужно было им не для сопротивления при обысках и арестах, а для бунта, который они рассчитывали вызвать в народе.

ные, а офицеры и прокурор будут выжидать в стороне, в безопасном месте. В виду того еще, что в кассе было очень мало денег, большинством наличных членов в выдаче отказали.

Приехал также Д. А. Клеменц; он остановился у доктора Веймара, имевшего свою лечебницу в доме Фитингофа, у Поцелуева моста.* Когда мы пришли с Соней к нему, мы впервые увидели вышедшего к нам человека высокого роста, с русой бородой; это и был Веймар. Он провел нас в один из номеров, в котором мы увидели Д. А. Клеменца. Горячо обнявшись и поцеловавшись, он и сестра, оба со слезами на глазах, заговорили о трагической смерти Сердюкова, ** потом, успокоившись, сестра слушала крайне интересные рассказы Клеменца о его похождениях по деревням и по Волге. Рассказал он также о своей неудачной поездке в Орел к Н. В. Чайковскому, о неисправимом совращении его Маликовым в богочеловечество. Клеменц сообщил нам, что кроме Чайковского приняли богочеловечество два артиллериста, Теплов и Аитов; они были арестованы, но скоро выпущены, потому что жандармы пришли к заключению, что они безвредны.

Таким образом прошла жизнь Сони у отца без малого целый месяц; она стала сильно тяготиться этим. Да и мне

---

* По словам Александры Ивановны Мороз, у Веймара в 1875 г. был собственный дом на Невском проспекте и в нем лечебница. Однако, это не исключает того, что в 1874 г. у него была водолечебница у Поцелуева моста, в доме Фитингофа, подъезд со стороны канала (кажется Крюкова).

** Александра Ивановна Мороз сообщила мне недавно, что Сердюков умер в Твери в 1877 г., что она уже после окончания процесса 193-х ездила в Тверь на похороны его и что не судился он за болезнью. Из этого утверждения явствует, что мы с Соней, да и Клеменц, имели неверные сведения об его отравлении, потому что вышеописанный факт—свидание наше с Клеменцом летом 1874 г.—остается тоже несомненным.

тоже хотелось скорее ехать к матери, а оттуда в Новочеркасск, за невестой. Еще до освобождения Сони, я и «поп» (Владыкин) задумали поехать к матери в Приморское, устроить там кузницу и, с помощью наемного кузнеца, научиться кузнечному ремеслу, с целью потом поселиться где-либо в деревне. Зато мы решили взять хозяйство в свои руки и наладить его получше. Одновременно я и сестра «попа», Александра Ивановна Владыкина, сговорились обвенчаться. Соня одобрительно отнеслась к нашим планам. Припоминается мне, что она даже находила наш брак полезным на случай поселения в деревне. «А все-таки,— прибавляла она,— для дела революции это будет изрядным тормозом».

Соне тоже захотелось уехать к матери, и она попросила отца выхлопотать ей разрешение поехать в Приморское. Отец сам был рад этому, потому что Соня все-таки стесняла его. Разрешение это он получил очень легко. Мы решили ехать через Москву на Киев и Одессу по железной дороге, а оттуда — пароходом в Севастополь. Нам очень хотелось повидаться с Феликсом Волховским и его женой Марьей Осиповной. Нами раньше было получено известие о выходе Волховского из кружка одесситов, им же организованного. Остановиться в Одессе, до отхода парохода на Севастополь, мы решили у Николая Ивановича Драго.

Когда Соня сообщила матери о своем освобождении и о своем плане приехать к ней со мной, в ответ мы получили от нее радостное письмо, в котором она писала, что с нетерпением будет ждать нашего приезда.

В Москву поезд приходил рано утром, а отходил на Киев под вечер. Мы решили воспользоваться этим и повидаться с Лебедевыми (кажется), мужем и женой, жившими где-то вблизи Петровско-Разумовской академии. Сдав вещи на хранение на киевском вокзале, мы отправились в Петровско-Разумовское.

Долго искали мы по имеющемуся у нас адресу дом, а найдя его, долго не могли достучаться у подъезда; вошли во двор и там тоже долго не могли добиться толку; наконец, из флигеля вышла женщина, повидимому, кухарка, и сказала нам, что Лебедевы арестованы, и полиция беспрестанно ходит справляться, не приходил ли кто-нибудь. Мы, конечно, быстро ретировались.

Так как до поезда оставалось уже немного времени, то мы отправились на вокзал: так нам не удалось повидать ни Наталью Армфельд, ни других.

В Одессе мы поехали с вокзала прямо к Драго. У него только накануне была свадьба сестры; поэтому мы сейчас же пошли разыскивать Волховских.

Они на лето перебрались в маленькую хатку на лимане. Дома застали только М. О. Волховскую, больную суставным ревматизмом и лежавшую в постели. Только к вечеру пришел со службы Феликс Волховский и сейчас-же объяснил нам причину ухода из кружка. Он, смотря на революционную деятельность серьезно, требовал от сотоварищей, взамен траты времени на разговоры, более интенсивной деятельности, но молодежь не поддавалась и стала обвинять его в генеральстве, тогда он и решил выйти из кружка, оставаясь в близких отношениях со всеми. В виду позднего времени, мы собрались было уходить, но Волховские стали нас задерживать; завтра было воскресенье и не надо было итти на службу; к тому же Феликсу хотелось прочесть нам свою повесть, хотя еще не законченную. Мы согласились остаться.

На другой день погода была прекрасная, мы провели целый день под большим тенистым деревом. Волховский прочел нам, между прочим, свой рассказ (начинавшийся, кажется, словами: «Что это, братцы...») на украинском языке; но, в виду его незаконченности, мы не могли высказаться по существу.

Под вечер мы сердечно распрощались с хозяевами и отправились к Драго.

На утро отходил пароход на Севастополь. Не пришлось нам и тут увидаться с другими членами кружка.

Путешествие по морю, благодаря отсутствию ветра, было очень приятно, и мы провели большую часть ночи, гуляя по палубе парохода. Прибыв утром в Севастополь, мы переправились на ялике через бухту и, на наемных дрогах, подъехали, наконец, к дому одиночке, в полгоры. Весело было свидание; в особенности, весела и оживлена была Соня, увидевшая мать после продолжительной разлуки.

Вскоре мне пришлось съездить в Новочеркасск, обвенчаться с Александрой Ивановной Владыкиной, при чем шаферами у нас были Обухов (вскоре умерший от чахотки) и Емельянов, осужденный потом за Казанскую демонстрацию и вскоре же заболевший психически, после насилия над ним градоначальника Трепова, в доме предварительного заключения.

Время для купанья было чудесное, и Соня пользовалась им с увлечением. Пловцом она была выдающимся: заплывала она так далеко от берега, что я следовать за ней не решался. А впоследствии она вытащила из воды жену Эндоурова, Екатерину Николаевну, высокую и массивную трусиху, не умевшую плавать и как-то неожиданно очутившуюся на глубине выше ее роста и со страха беспомощно опустившуюся на дно.

В половине августа, в день Успения, ежегодно стекаются в Успенский монастырь под Бахчисараем массы богомольцев. Сестра решила воспользоваться этим и отправилась пешком в компании знакомых девушек и женщин из ближайшей слободки, расположенной близ братского кладбища, на северной стороне севастопольской бухты. Там пришлось ей ночевать в общей массе на лужайке, близ монастыря. После она с удовольствием рассказывала подробности этого

путешествия; в то же время, на своих попутчиц она произвела такое хорошее впечатление, что я много позже, по возвращении из ссылки, услышал от одной из них следующее признание: «сестра ваша так понравилась нам всем, что мы не раз вспоминали о ней, когда, случалось, собирались вместе».

В конце сентября созрел виноград, и Соня участвовала в сборе винограда наравне с нанятыми женщинами.

XII.

В то же время мы узнали, что в Севастополь приехали студент Одесского университета, только что выпущенный из тюрьмы, Цакни, и его жена, бывшая Львова, и привезли много нелегальщины. Мы с Соней решили отправиться к ним в город.

За несколько дней раньше этого, мне как-то понадобилось послать шифрованное письмо в Петербург; но, оставляя лошадь на постоялом дворе на северной стороне бухты, я, пока расседлал лошадь, положил связку вещей и это письмо на кучу бревен, у стенки. Привязав лошадь и взяв вещи, я заметил пропажу письма; очевидно, оно упало глубоко между бревен, и я достать его не мог. Нечего делать, я попросил дворника, чтобы тот постарался найти его, когда будут разбирать бревна, и пообещал ему хорошее вознаграждение. На почте как раз в тот день я получил письмо от Драго, в шуточном тоне поздравлявшего меня со свадьбой. Когда мы с Соней нашли Цакни и, забрав у них порядочный узел нелегальщины, переехали бухту, я вспомнил об утерянном письме и пошел спросить у дворника, не нашел ли он его. Тот сказал, что нашел, но отдал его для хранения хозяину. Хозяин этот был давно знаком мне, и потому я, ничто же сумняшеся, пошел к нему и спросил письмо. На это он, смущенно смотря в сторону,

понес какую-то околесицу. Я догадался, что дело неладно, пошел скорее по дороге на гору, где в полгоры дожидалась меня Соня. Едва мы тронулись, как меня окликнул знакомый старик полицейский; подозревая неладное, я передал Соне узел с книгами и сказал, что постараюсь всячески задержать поездку полиции к нам, чтобы она могла поспеть добраться до дома и приготовить всех и все. Полицейский сообщил мне, что у пристава с утра сидит жандармский ротмистр, который ищет меня.

Едва я вошел в канцелярию пристава, ко мне вышел этот офицер, галантно отрекомендовался, спросил, кто я, и сообщил, что он ищет и караулит меня уже несколько дней. «Вы потеряли письмо на постоялом дворе?» — «Да,— говорю я,— это досадная потеря» (у меня блеснула удачная мысль). «Это письмо я в тот день получил с почты и к счастью тут же на почте прочел его, но потом потерял и не мог прочитать своим домашним» — «Нет, — говорит офицер, — тут письмо, которое адресовано было для отправки на почту».—«Нет,— отвечаю я, — такого письма я не терял». Офицер начал меня допрашивать дальше, задавать разные вопросы и записывать мои ответы. Ну, думаю я, кажется, Соня успела добежать до дому и все приготовить. Наконец, ротмистр догадался послать полицейского за подводой. Пока извозчик запрягал лошадь и подъехал, прошло еще немало времени, так что мы тронулись в путь уже в потемках.

Как только мы подъехали к дому, Соня шепнула мне, что все готово. Я повел приехавших прямо в свою комнату, где они произвели обыск; в других комнатах они обыска не делали. Кончив рытье, ротмистр предложил мне сесть и написать под его диктовку, например, адрес отцу в Петербург. Я решил почерка не менять, так как его потом трудно будет выдержать при дальнейших писаниях своих показаний. Едва я написал слово — Петербург, как он тотчас же произнес: «Ну, я должен вас арестовать!»

Я пошел в свою комнату переодеваться, а ротмистру и приставу предложил пока чай.

Соне я передал свои показания и просил сообщить о них скорее Драго. Переехали мы бухту уже ночью, и ротмистр повел меня, но не в тюрьму, а к себе в гостиницу (Моро, кажется) па Екатерининской улице. Он посадил меня в номер рядом со своим, а у дверей в номере же поместил на стуле жандарма. На другой день, очевидно по заказу офицера, мне принесли чай, а потом и завтрак и обед, а после пришел и он сам с моряком полицмейстером и заставил меня опять повторить все мое показание и самому записать его. После этого ротмистр объявил мне, что, по мнению нескольких лиц, письмо несомненно написано моей рукой, и показал его мне, пристально наблюдая за мной. Взглянув на письмо, я, с улыбкой, смотря офицеру в глаза, сказал, что почерк настолько похож на мой, что я и сам, если бы увидал его при других обстоятельствах, пожалуй, признал его своим, а теперь могу только просить допросить Драго и сравнить его показания с моими.

На другой день, с утра, ротмистр объявил мне, что предстоит проезд какой-то высочайшей особы, и он будет почти целый день занят, но что я могу требовать себе, что захочу, из еды, и если ко мне придет жена, то и для нее могу заказывать, что угодно. Соня и жена пришли довольно рано, обедали со мной и ушли под вечер; сообщили, что уже послано подробное сообщение Драго; сообщили, что мать сначала волновалась, но, видя, что мы все спокойны и даже веселы, сама успокоилась. Это была ее первая проба в дальнейших испытаниях и первое знакомство с жандармерией.

На другой день ротмистр мне сказал, что отправил все мои документы в Одессу и будет ждать ответа. Погода была прекрасная, и под вечер он предложил мне отправиться погулять на бульвар. — «Надеюсь, что вы не убе-

жите?» — «Конечно», — обнадежил я его, смеясь, и мы отправились вдвоем, а за нами на приличном расстоянии шел старик унтер-офицер. Когда мы поднялись на бульвар, публики оказалось порядочно, и ротмистр приказал старику, чтобы он оставался по середине бульвара, около скамеечки, и оттуда наблюдал за мной. Довольно долго мы ходили с ротмистром взад и вперед, при чем он заговаривал с встречными офицерами и, наконец, не утерпел, чтобы не полюбезничать со знакомыми барышнями; он шепнул мне, что рассчитывает на мое слово, и пустился гулять с ними, а я продолжал похаживать в одиночку. Наконец, подойдя снова ко мне, он предложил итти ужинать в павильон. Там оказался корпусный командир из Одессы со свитой, и во время ужина ротмистр участвовал в общем разговоре. Часов в двенадцать мы отправились домой.

На другой день ротмистр объявил мне, что получил приказ отправить меня в Одессу, в распоряжение жандармского управления. Так как пароход отходил на другой день, то он предложил свести меня домой, чтобы я попрощался с родными и, кстати, захватил нужное белье и одежду. Я поблагодарил его, и мы отправились в Приморское. Наши успели приготовить хороший обед, и ротмистр, очень польщенный, целый обед болтал про порядки в Западном крае, о том, как там крестьяне поставлены независимо от помещиков и прочее. Я зачастую уходил в дальнюю комнату и просиживал там с Соней и женой. Между тем два жандарма сидели в кухне и прогуливались по окрестностям, а потом оказалось, что они запускали руки даже в дупло одного старого дуба, в расчете найти там что-нибудь. Вернулись мы в Севастополь совсем под ночь.

На следующий день, перед самым отходом парохода, ротмистр повел меня на пристань. Жена и Соня приехали провожать меня, и я был с ними, пока матросы не начали

убирать сходни. Жена расплакалась, посылая мне последний поцелуй, да и я сам невольно прослезился. В Одессе жандармы повезли меня прямо в казармы жандармского дивизиона, где-то за городом. Там, старик майор провел меня в комнату, занимаемую писарем, и велел очистить ее, а за дверью поставил часового. Окно выходило на двор, комната была во втором этаже, и из окна можно было наблюдать за проездкой лошадей в манеже. В нижнем этаже, между прочим, сидел Костюрин, не помню только который из братьев.* Обед мне давали из солдатской кухни довольно хороший: щи, да каша с салом; только в постные дни довольно паскудный. Скоро майор, рассказав мне, что по выслуге пенсии собирается уйти в отставку, стал укладывать добро свое на подводу и покинул казармы, а на его место на другой день явился штабс-капитан, еще молодой, с женой и взрослой дочерью. Скоро этот капитан пришел и стал рыться в бумагах в шкафу, с горечью жалуясь на затруднительность своего положения: писарь один, да притом молодой хлопец, неопытный; между тем ему необходимо поскорее отослать требовательные ведомости, чтобы получить ассигновки и деньги на фураж и кормовые для довольствия команды. Все ведомости надо представить в двух экземплярах, а у него на-днях свадьба дочери с кандидатом на священника и предстоят экстренные расходы. Я предложил ему, чтобы он дал мне образцы, и я охотно напишу, что нужно. Капитан пришел в восторг и сейчас же дал мне все бланки, объяснив, как надо высчитывать суммы; я принялся за работу, а обрадованный капитан в обеденное время сам принес мне тарелку супа, а затем жаркое и даже сладкое, и просил кушать на здоровье. Так он продолжал меня кормить и по окончании

---

* По мнению М. Ф. Фроленко это мог быть только Виктор Костюрин, так как брат его был в то время еще слишком молод.

моей писарской работы вплоть до отправки меня в Москву перед рождественскими праздниками.

Тем временем, однажды, входит ко мне полковник (кажется Кноп) и начинает слащавую речь, что, рассмотрев мое дело, он тоже находит, что письмо, несомненно, написано мной, и, чтобы не затягивать дела, он советует мне признать это и дать объяснения. Я подтвердил, что почерк настолько похож на мой, что я сознаю тяжесть обвинения, но не могу ничего прибавить к данным уже мною в Севастополе совершенно прямым и обстоятельным объяснениям обстоятельств дела. — «Ну, в таком случае, — сказал он, — я немедленно пошлю ваше дело в Москву, генералу Слезкину, и буду ждать его распоряжений». Капитан мой потом прибежал сообщить мне, что я произвел на полковника благоприятное впечатление, и он даже распорядился не делать мне никаких утеснений.

В скорости приехали мать и жена моя, Александра Ивановна; капитан рассыпался перед ними в любезностях, вызвал меня к себе в залу, сам удалился и предоставил нам беседовать наедине. Полковник и им сказал, что мое дело послано в Москву и, следовательно, им лучше всего ехать туда и хлопотать там. Так они и сделали.

Скоро получено было распоряжение отправить меня в Москву. Привезли меня в жандармское управление и посадили в камеру, за перегородкой; только через несколько дней вызвали к допросу. Я повторил все прежнее, а затем меня повезли в Рогожскую часть и поместили в тюремное здание во дворе ее. Камера мне досталась во втором этаже, очень маленькая, закопченная, с окном на двор. Печь отапливалась из коридора и изрядно чадила. Гулять выводили во двор в сопровождении жандарма. Слышно мне было, что во втором этаже и в нижнем все камеры заняты. Часовым в коридоре был рядовой жандарм, под командой унтер-офицера. Мне выдавалось ежедневно с утра 20 копеек на

харчи и предоставлялось заказывать покупки этому старшему. Можно было брать обед только из ближайшей харчевни, кажется, за те же 20 или 30 копеек, но он был очень подозрительного качества и несвежий. Между тем мне скоро передали от матери целую корзину всякого снадобья, и я перестал брать обед из харчевни. Были со мной книги, и я коротал время за чтением. Наконец, через несколько времени меня повезли в управление и дали свидание с матерью и женой. Им еще не давали обещания выпустить меня. Тем временем мне сильно захотелось помыться в бане, и унтер повез меня в наемной карете в ближайшую баню, при чем заявил, что мы будем мыться вместе. Баня была далеко не первого сорта и, может-быть, с некоторым угаром, потому что едва я намылился и попросил унтера окатить меня водой, как упал в обморок; когда я очнулся, то увидел унтера до крайности перепуганного. Я, однако, оправился и, кончив обмыванье, пошел одеваться; унтер все время повторял: «И напугали же вы меня. Что, если бы случилось что-либо; ведь я запер номер на ключ и, пожалуй, был бы в ответе за случившееся».

Наконец, не помню уже точно когда, — кажется, в конце февраля или марта 1875 г., — меня вызвали в управление, и, после допроса прежнего качества, товарищ прокурора, кажется, Шубин, прочел мне какую-то бумагу с обязательствами; я ее подписал и был отпущен на поруки матери, впредь до окончания дела. Очевидно письмо не было расшифровано.* Веселый, я выходил вместе с матерью и женой из заключения.

---

* Об адресате моего письма я совсем забыл; но потом, кажется в 1889 г., брат мой Николай ездил в Петербург, по случаю смерти отца нашего; ему пришлось бывать у нашего короткого знакомого Федора Ивановича Труссона, в доме которого на Исаакиевской улице мы жили один год. Он, смеясь, рассказывал брату, что

Соня, которая вместе с матерью приехала в Москву, накануне уехала в Петербург и вернулась в Приморское значительно позже нас.

XIII.

На другой день я отправился с женой повидаться с Марьей Осиповной (урожденной Антоновой), женой Феликса Волховского, который сидел в Москве. Незадолго до моего освобождения, предпринятая попытка организации побега его окончилась неудачей. Устроена она была Германом Лопатиным и им описана в каком-то номере «Былого». Феликсу дан был табачный порошок для того, чтобы он засыпал глаза жандарму, который повезет его на извозчике; воспользовавшись этим, Феликс должен был вскочить в сани лихача, в которых сидела его жена, к сожалению, не пожелавшая предоставить это место Лопатину. Сама же она, со своими больными руками, не смогла, конечно, обхватить Феликса и удержать на санях, когда лихач быстро помчался, и Феликс упал на землю; находившиеся вблизи солдаты и жандарм принялись его бить. Бывший поблизости Всеволод Лопатин, брат Германа, бросился удерживать солдат и, конечно, тоже был побит, арестован и попал в тюрьму, в которой просидел, кажется, вплоть до процесса 193-х, но первое время не числился политическим, так что, бывший в то время в Москве, Н. И. Владыкин свободно посещал его в тюрьме.

М. О. Волховской необходимо было скрыться из Москвы. Мать моя и жена предложили ей ехать с нами в Приморское.

его, как-то давно, призывали в III отделение по поводу письма, адресованного ему и наполненного цифрами. Он наотрез утверждал, что решительно никому не давал своего адреса. В виду того, что Труссон был богатым домовладельцем и лицом, известным в высших кругах общества, то его отпустили с миром и более не тревожили.

Через несколько дней мы отправились на вокзал, захватив с собой Волховскую и прихватив дорогой ее дочку, взятую на руки моей женой. Пока я хлопатал с багажом и билетами, женщины сидели в сторонке. Наконец, мы отправились в вагон; хороших мест не удалось занять,* да и публика попалась до крайности грубая; бедную маму сильно поталкивали, и ей удалось лечь только на другой день; больной Волховской тоже много пришлось промучиться. Доехали мы по железной дороге только до Симферополя, а оттуда на извозчиках в Приморское.

Тем временем Эндоуров успел сдать выпускные экзамены на инженера-химика и вместе с Николаем Владыкиным, братом моей жены, уехал в имение своего отца в Ярославскую губернию, где скоро был арестован (за пропаганду среди рабочих и раздачу нелегальщины крестьянам) и препровожден с жандармами в Петербург. Ему предстояло попасть на каторгу или в ссылку подобно многим другим; поэтому он решил бежать с пути. Дано было знать в Питер товарищам, и они явились в большом количестве на вокзал Николаевской железной дороги, чтобы устроить толкотню и замешательство в публике на перроне; старший жандарм пошел нанимать карету, а младшего Эндоуров попросил вытащить чемодан из-под скамейки (он вытягивался с трудом), сам же тихонько вышел на перрон, замешался в толпе и быстро пошел на товарный подъезд. Невеста его, думая, что он сбился, окликнула его из толпы, но он погрозил ей кулаком, не оборачиваясь, и побежал дальше, затем он вскочил на извозчика и благополучно удрал. Ему пришлось скрываться некоторое время в Петербурге, хотя в то же время удалось обвенчаться под своей настоящей фамилией с невестой, казачкой Екатериной

---

* Плацкарт тогда еще не было, и движение было только до Симферополя.

Николаевной Проскуриной, товаркой моей жены. С ней он приехал в Приморское. Туда же приехал Владыкин с женой, Александрой Меркурьевной, сестрой Эндоурова.

Отчасти вследствие такого многолюдства, Волховской стало рискованно жить у нас; а главное, при ее болезни, ей нужно было перебраться на юг Италии. Для этого она списалась с одесситами, и к нам приехала Анна Макаревич (урожденная Розенштейн), молодая, красивая, очень живая и энергичная женщина.*

Приблизительно к тому же времени вернулась к нам и Соня; из-за тесноты дома, устроила она себе угол в хлебном магазине.

Анна Макаревич пробыла у нас довольно долго, пока было получено из Одессы сообщение о добыче заграничных паспортов, и тогда она с Волховской и ее дочкой отправилась пароходом в Одессу,** а скоро мы получили известие о их благополучном переезде в Италию. Однако, несчастной Волховской Италия не помогла, и она года через два или того меньше скончалась.

После отъезда Волховской, Соня поехала в Симферополь хлопотать о приеме ее на открытые доктором Бетлингом, заведывающим земской больницей, женские фельдшерские курсы. Она была принята и поселилась вместе с другими курсистками. С нею на этих курсах была, между прочим, Н. О. Баранова (впоследствии жена казненного в Сибири Коган-Бернштейна) и Воробьева (вятчанка). Все они, кроме слушания лекций, дежурили по палатам и ухаживали за

---

* Она же познакомила нас всех с Николаем Ильичом Емельяновым, впоследствии игравшим изрядную роль в Севастополе в 1905 г., а также бывшим депутатом от Таврической губернии во второй государственной думе, во фракции социалистов-революционеров.

** По этому поводу приезжал к нам М. Ф. Фроленко и, по его словам, он отвез Волховскую в Одессу.

больными, а Соня кроме того одно время ходила на дом к одной старухе, безнадежно больной раком, и делала ей перевязки, крайне тяжелые, вследствие несносного гнилостного запаха от раны; несчастная больная была в восторге от Сони.

Одновременно мы познакомились в Симферополе с молодым человеком Михаилом Соломоновичем Бергом, наследовавшим от деда своего (бывшего ростовщика) довольно большое состояние и сблизившегося с «политически-неблагонадежной» молодежью. У него была публичная библиотека, довольно порядочная для провинциального города; этой библиотекой заведывал Петр Абрамович Теллалов, впоследствии видный деятель «Народной Воли», погибший в Петропавловской крепости. С ним мы сблизились сразу. В Симферополь скоро приехала Екатерина Казимировна Дическуло (впоследствии попавшая в ссылку в Семипалатинск почти одновременно со мной). Она получила место начальницы земского приюта для внебрачных детей. Это удалось ей при посредстве председателя губернской земской управы, Владимира Карловича Винберга, очень расположенного к Теллалову, который давал уроки его детям. Теллалов скоро перешел на службу в общество взаимного кредита (председателем которого был тот же Винберг), а на его место в библиотеку Берга поступил Александр Эндоуров (конечно под нелегальной фамилией). Однако, библиотека скоро подверглась нашествию жандармов и была закрыта. Берг продал ее, а Эндоуров вернулся в Приморское.

XIV.

Приблизительно в июле месяце мы задумали устроить путешествие верхами в горы, на Чатыр-Даг. Соня, большая любительница верховой езды, а также красот природы, конечно, охотно присоединилась к нам и взяла отпуск

у доктора на неделю. Всех нас собралось семь человек: я, Соня, Владыкин, Эндоуров, Берг, Теллалов и еще Марков, бывший учитель земской школы. Достали у знакомых татар недостающих лошадей и седла; для Сони Берг привез дамское седло. Запасшись, главным образом, чаем и сахаром да теплой одеждой, мы выехали из Приморского рано утром, при чудесной погоде и отправились Бельбекской долиной на Бахчисарай. Теллалов, впервые севший на лошадь, боязливо, нетвердо сидевший на седле, всю дорогу был предметом шуток и острот и, таким образом, содействовал общему веселью; Соня же была к нему неумолима. Она не любила тащиться шагом, а норовила все пускать лошадь вскачь. Мы все пускались за ней следом, а Теллалов (лошадь которого норовила не отставать от других), держась обеими руками за луку татарского седла, с выражением страха на лице, умолял о пощаде, а потом отводил душу на нас, но в конце концов смеялся сам над своей беспомощностью. Таким образом, мы скоро доскакали до Бахчисарая. Основательно закусив шашлыками в татарской харчевне и мельком осмотрев ханский дворец, мы тронулись мимо Успенского монастыря на развалины Чуфут-Кале;* за нами бежала целая свора мальчишек; мы слезли с лошадей, отдав мальчуганам повода, и отправились посмотреть полуразрушенную гробницу какой-то царевны, а также подземелья, в которых содержались колодники, прикованные цепями к стене; после казни их выбрасывали с кручи в окошко. Снова взобравшись на лошадей, мы поехали посмотреть так называемую Иосафатову долину или караимское кладбище.

Дорога шла обок горы уступами, местами с оголенными плитами известняка. На одном таком уступе Сонина лошадь

* Древнее караимское укрепление, расположенное вдоль узкого высокого гребня известкового массива.

поскользнулась на обе задние ноги, так что села по-собачьи, а передние ноги ее стали сползать вперед. Все мы просто обомлели от испуга, что вот лошадь сейчас упадет набок: и как-то удастся Соне не расшибиться. Но она не потерялась и сильным ударом хлыста заставила лошадь вскочить на все ноги. Все мы от души поздравили Соню с счастливым минованием опасности.

Затем мы спустились в долину реки Марты и, расспросив в деревне, как пробраться на Алминскую долину, уже совсем под вечер начали подыматься на верховье водораздела по глубокому ущелью, усыпанному камнями и глыбами и порой с более или менее высокими уступами. Наконец, ущелье до того сузилось, и уступы стали столь высоки, что лошади решительно отказывались впрыгивать на них. Пришлось повернуть назад и направить путь подъема по сравнительно молодому дубовому лесу. Спешившись и лавируя, мы под полночь уже выбрались на вершину так называемой Черной горы; так как лошади да и мы сами были измучены, то мы решили расседлать лошадей, пустив их на траву под караулом одного, а остальным завалиться спать, подложив под головы седла и укрывшись получше, в виду холодной ночи. Я и Соня легли рядом и укрылись сообща чекменем и дождевиком.

Проснулись от холода, покрытые росой, с первым рассветом; заседлали скорей лошадей и, ведя их в поводу, спустились вниз в Алминскую долину, а по ней стали подыматься вверх до так называемого Кырк-Яланского кордона лесной стражи. Подкрепив себя яичницей и чаем у лесничего и расспросив, как подняться к вершине Чатыр-Дага, мы отправились в путь. Однако, скоро мы сбились с тропы. Пришлось послать Маркова обратно к лесничему, просить его приехать и указать дорогу. Марков вернулся с сыном объездчика верхом, и тот вывел нас на горную тропу. Дальше мы уже без его помощи добрались до Яйлауского

уступа, на юго-западной стороне которого возвышалась вершина Чатыр-Дага. Вся площадь была усеяна камнями и выступающими отвесно слоями известняка с различного вида ложбинами и воронками — так называемый карстовый ландшафт с красивыми видами по горизонту. Трудно было двигаться лошадям. У встречных чабанов, пасущих стадо овец, расспросили мы, как добраться до пещеры Бим-баш-Коба (тысячеголовая), и добрались, наконец, до значительной впадины, в виде воронки, на одном из уступов которой видна была чернеющая трещина; по этой трещине надо было ползком на четвереньках попасть в самую пещеру, интересную под величественным сводом с известковыми натеками, местами искрящимися от зажженных свечей. Затем перешли мы в другую пещеру Сулу-Коба (ледяной воды), вход в которую был просторный и в вышину. В ней оказались целые бассейны необыкновенно прозрачной, ледяной воды, так что двигаться по различным переходам было довольно затруднительно.

Уже совсем к вечеру мы почувствовали такой голод, что решили послать Маркова к чабанам купить барашка. Скоро чабан принес барашка, заколол его и, сняв шкуру, ушел, а мы принялись жарить куски баранины над огнем на деревянных прутьях. Не хватало у нас ни терпенья, ни уменья; жаркое отдавало сильно дымом и было полусырое внутри. Сестра попробовала только, отказалась есть ее и, ограничившись лишь чаем с хлебом, улеглась спать. Осталась половина баранины, которую мы решили поручить жене объездчика зажарить завтра как следует. Менее брезгливые наелись-таки изрядно полусырой баранины и, напившись чаю, улеглись тоже спать.

На другой день поднялись мы до восхода солнца и, тоже продрогнув изрядно, быстро умывшись ледяной водой из пещеры, отправились на вершину Чатыр-Дага; с трудом взобрались и, полюбовавшись громадным простором моря

и далекими видами оттуда, скорей пустились в обратный путь, на кордон; голод давал себя чувствовать сильно. Отдав баранину жене объездчика, мы еще прикурнули маленько. Затем, наевшись вдосталь и напившись чаю, пустились мы вниз по долине реки Алмы, до деревни Бишуй. Там пришлось нам потерять много времени за перековкой лошадей, и затем, на исходе дня, расспросив у деревенских, как нам пробраться напрямик на Бахчисарай, спешно тронулись. Однако, мы довольно скоро сбились с пути, и забрались в гору, в лес, где дорога крутилась в разные стороны и, наконец, вовсе прекратилась на одной поляне с копнами недавно скошенного сена. Начали мы кричать и спорить, как выбраться из лесу, как вдруг перед нами вышел из чащи крестьянин, с увесистой дубиной, и с любопытством стал нас оглядывать. Обрадовались мы ему чрезвычайно и, перебивая друг друга, стали рассказывать ему, как мы сбились с дороги на Бахчисарай, и просили его вывести нас на дорогу. Поняв, что мы странствующие, путешественники, он сказал, что, за поздним временем, нам не добраться до Бахчисарая, и предложил нам переночевать у него, в деревне Мангуши, до которой недалеко, а рано утром отправиться уже на Бахчисарай. Мы с радостью согласились, и он повел нас кратчайшим путем, глубокой промоиной; пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Соня до того устала, что я отдал ее лошадь проводнику, а она, подобрав свою длинную юбку, шла пошатываясь.

Пришли мы в деревню Мангуши к проводнику нашему, привязали лошадей к только-что вновь сплетенному забору. Хозяин подбросил каждой понемногу свежей травы, а мы вошли в хату; скоро зашумел на столе самовар и появилась яичница. С жадностью закусили мы и напились чаю, а затем расположились на полу, на свежем сене. Спали как мертвые и, чуть свет проснувшись, вышли к лошадям, седлать их. О ужас! забора как не бывало! Голодные лошади,

уничтожив небольшие дачки сена и, далеко не удовлетворенные этим, принялись понемногу обгрызать молодые ветки, наполовину с листвой, а потом и более толстые; таким образом от плетня остались только жалкие остатки. Однако хозяин отнесся к этому довольно снисходительно; мы отдали ему почти все оставшиеся у нас деньги, а хозяйке — весь оставшийся сахар и чай. Оседлали лошадей и пустились поскорей в путь, при чем каждый из нас, садясь на седло, морщился и охал от боли, так как с первых же дней все понатерли себе изрядные ссадины, и Соня не представляла исключения. Так как срок отпуска у Сони кончался в этот день, то она решила отправиться прямо на вокзал и с первым поездом уехать в Симферополь; то же сделал и Теллалов, а мы взяли их лошадей в повод и погнали домой поскорей, так как начинал накрапывать дождь.

XV.

Как началась война с Турцией (осень 1877 г.), в Симферополе были устроены бараки для раненых и больных, около самой больницы, и Соня с другой еще товаркой Липкиной, как окончившие курсы, назначены были в эти бараки. Однако Соне не пришлось работать в них, потому что она вызвана была через полицию в Петербург на процесс 193-х.

Я приехал в то время в Симферополь и не застал уже Соню, а Липкина, перебравшаяся в один из бараков, говорила мне, что еще нет ни одного раненого или больного.

Соня присылала нам часто на безопасный адрес письма, подробно описывая в них заседания суда и приводя большие отрывки выдающихся речей подсудимых, в особенности Мышкина.

Оправданная по суду, Соня не скоро вернулась к нам, так как осталась в Петербурге, чтобы принять участие в попытке устроить освобождение Мышкина. Это не удалось,

и она предполагала ехать в Сибирь, чтобы там организовать побеги каторжан. Для того, чтобы получить право легально ехать в Сибирь, не возбуждая подозрения, она предполагала обвенчаться с Львом Тихомировым. В виду того, что власти могли по этому поводу обратиться к отцу, она письмом просила мать написать отцу и просить его, чтобы он не препятствовал со своей стороны. Мать, конечно, сейчас же написала отцу об этом; но отец ни слова не ответил.

Между тем Соня оставила это намерение,— без сомнения потому, что обвиненных не посылали в Сибирь, а развозили по центральным тюрьмам. После этого Соня приехала к нам. Несмотря на то, что я уверял мать, что этот брак несомненно фиктивный, только как средство для поездки в Сибирь, мать не поверила моим доводам и, когда приехала Соня, поздравила ее и даже сообщила, что и все близкие, узнав об этом, радовались вместе с ней. Соня очень рассердилась и это сильно испортило настроение минуты. Я сказал матери: — «Вот видишь, мама, что я был прав, когда говорил, что предполагался фиктивный брак». На это сестра с раздражением перебила: «Да хоть бы и действительный! Все-таки слишком интимное это дело, и об этом звонить вовсе не следует». Едва Соня приехала, как утром явился пристав



С. Перовская.
(Март 1878 г.).

с северной стороны и объявил ей, что ему приказано привести ее в управление полицмейстера. Там жандармский капитан Гангардт объявил ей, что получено распоряжение отправить ее с жандармами в административную ссылку в Повенец Олонецкой губернии. Ее не пустили даже домой, чтобы проститься с родными и приготовиться к дороге. Чувствуя недоброе, я, немного погодя, поехал к приставу и там застал сестру. Пристав любезно не мешал нам говорить наедине. Соня сказала мне, что она при первой возможности постарается бежать, и потому просила, чтобы ей положили в чемоданчик как можно меньше белья и одежды. Я отправился к Гангардту на квартиру просить, чтобы он приказал жандармам заехать по пути на вокзал к нам, чтобы Соня могла проститься с матерью и больной теткой, Юлией Степановной, бывшей тогда у нас. Гангардт долго упирался, но наконец сдался на мои доводы; только поставил условием, чтобы никакой демонстрации при прощании устроено не было.

Я со смехом успокоил его, заверив, что, кроме членов семьи, никого нет и не будет. Однако, он все-таки не сдержал своего слова. Под вечер фаэтон с Соней остановился на дороге против нашего дома, и жандарм пришел сообщить, что Гангардт не разрешил Соне заехать домой, а предлагает матери сойти вниз, сесть вместе с дочерью в экипаж и проводить ее на вокзал до отхода поезда. Мама отправилась, а я и Владыкин запрягли лошадь в дроги и поехали следом, а пристав ехал верхом за фаэтоном и сдал Соню жандармам под расписку только на вокзале. Поезда пришлось ждать довольно долго; Соня, большею частью, разговаривала с мамой. К сожалению, при нашем хроническом безденежьи не удалось дать Соне достаточно денег.

Вскоре мы получили известие, что Соня благополучно бежала. Потом, когда она приезжала к нам в 1879 г., она рассказывала подробности своего бегства. До Москвы ей

не представилось удобного случая бежать, да притом не хотелось подвергать ответственности жандармов, относившихся к ней хорошо и внимательно; а с Москвы дали ей жандармов, державших себя надменно и грубо, так что ей нечего было их жалеть. Счастливый случай помог ей и в денежном отношении. В том же поезде ехал Преображенский * (кажется, верно), знакомый Сони, и, проходя по вагону, переглянулся с ней; после этого Соня вышла в уборную, открыла окно и переговорила с ним, когда он стоял на площадке. Он передал ей петербургский адрес и достаточную сумму денег. Между тем, жандармы стали обдумывать, нельзя ли сократить маршрут, чтобы получить значительные сбережения прогонных денег. Им пришла мысль остановиться на Волховской станции и пароходом по Волхову спуститься в Ладожское озеро и дальше, минуя, таким образом, Петербург. Соня обрадовалась и поддерживала эту мысль. Так они и сделали. По приезде на Волховскую станцию поздно вечером, они узнали, что пароход отходит на следующий день утром. Они выпросили у начальника станции позволение занять дамскую комнату. Соня, из расписания на стене, узнала, когда пойдет пассажирский поезд на Москву; затем легла на диван лицом к спинке и притворилась спящей.

Один жандарм сел на стул, около выходной двери, чтобы караулить, а другой — лег на пол, поперек выходной двери, и скоро заснул мертвым сном; сидящий на стуле также стал клевать носом и просыпался лишь при сигнальном звонке, но скоро перестал совсем просыпаться. После сигнального звонка к московскому поезду сестра встала, отворила дверь и, перешагнув через жандарма (дверь отворялась наружу), вышла на перрон и зашла под железно-

* Он приезжал задолго перед этим в Симферополь за деньгами к Бергу и познакомился тогда с Соней.

дорожный мост. Однако, скоро туда пришел сторож и, увидав ее, воскликнул: — «Ты чего тут?» — «Я, дяденька, пришла помочиться». — «Ну, проваливай отсюда». Пришлось повиноваться, но поезд уже подходил, и сестра, переждав за углом палисадника, вошла в последний вагон и на скамейке у входной двери улеглась лицом к стенке, закрывшись с головой большим платком. Жандармы не проснулись, и поезд тронулся благополучно. Проехав, кажется, одну станцию по направлению к Москве, Соня вышла из поезда и наняла крестьянскую подводу до ближайшей деревни, а там, переждав немного, наняла до следующей деревни, но уже в сторону Петербурга. Так проехала она несколько деревень и, наконец, подъехала к второй от Волховской станции, взяла билет и благополучно приехала в Петербург.

Жандармы со страха растерялись; кинулись искать ее около станции, потом телеграфировали в Петербург и Москву и поехали с повинной. Так как прошло больше 10—12 дней, а от Сони не было ни письма, ни телеграммы, как было условлено, то мы сообразили, что она бежала; частые посещения пристава и урядника подтверждали это.*)

Вскоре после бегства своего, Соня занялась устройством бегства каторжан из Харьковской централки и вызвала на помощь А. М. Эндоурова. Однако, он довольно скоро вернулся, объяснив, что дело не клеилось, а Соня очень опасалась скомпрометировать доктора, близко ей знакомого, на которого пали подозрения.**

---

* Когда впоследствии Гангардт арестовал меня, то сообщил, что жандармы, упустившие Соню, были приговорены к двум годам арестантских рот.

** Недавно М. Ф. Фроленко мне рассказал, что Эндоуров застигнут был при обыске, и у него был отобран паспорт, подложный конечно; когда он потом пошел в полицию, то, ожидая прихода полицейского, он увидал на столе конверт с надписью «секретно» и в нем угадал свой паспорт; тогда он решил не ожидать выяснения и удалился.

Вероятно почти в то же время Соня держала экзамен на фельдшерицу, под чужой фамилией. Не помню уже, как она доставила это свидетельство матери, для хранения (вероятно, когда приезжала в 1879 г.), * а также много фотографических карточек, участников процесса 193-х, с которыми она обменивалась на свою. Все это было отобрано у матери, при одном из последующих обысков.

XVI.

В это приблизительно время Владыкин с женой, Александрой Меркурьевной, поехали в имение Эндоуровых—Щипцово — с целью научиться сыроделию и маслоделию; дорогой они виделись с Соней в Харькове. Она жила в подвальном этаже с Натальей Армфельд.

Последующее время плохо удержалось у меня в памяти. Помнится только, что у нас разновременно перебывало много народу. Жил у нас некоторое время эстонец Прейсман (кажется), скрывавшийся после стачки на Кремгольмской мануфактуре. Жил также довольно долго слесарь Василий Семенович (фамилии не помню); болел он сильно упорной лихорадкой, ради чего перебрался к Зотовым, в Феодосийский уезд, и там скоро умер. Жил также недолго нелегальный Биткин. Припоминаются также частые приезды к нам нелегальных: Дическуло, мужа Екатерины Казимировны; он эмигрировал потом в Болгарию, где скоро умер. Провел несколько дней у нас Д. Рогачев. Он рассказывал много про свои скитания по волжским пристаням и деревням в качестве грузчика. Во время купанья с ним в море, мы поражены были видом его спины, покрытой рубцами и красными пятнами, последствием таскания мешков с углем, по его словам. Был у нас как-то Ланганс, а значительно позже юный сын его, привезенный моими сыновьями из Одессы,

* Или, может-быть, переслала его с А. Эндоуровым.

на побывку. Бывал кажется не раз М. Ф. Фроленко.* Был также раз Марк Натансон, насмешивший нас рассказом, что революционное настроение в обществе и даже в высших сферах настолько назрело, что не далее как через год или максимум через два произойдет революция и смена формы правления. Заезжал к нам Лев Златопольский, знакомый нам еще по технологическому институту. Был как-то Колоткевич.

Тем временем, отчасти по причине невыгоравшего плана обучения кузнечному мастерству и поселения в деревне, в возможность которого нам уже не верилось, Эндоурову наскучило скрываться под чужой фамилией, и он сказал, чтобы я, при первом удобном случае, сообщил приставу его действительные имя и фамилию. Как только я это сделал, так на другой же день появился Гангардт, удостоверился, со слов самого Эндоурова, что именно он бежал от жандармов в пути; Гангарт обыскал его комнату, затем, отправил его на вокзал, с двумя жандармами, прямо в Петербург. Это произошло еще до взрыва московского поезда. Жена Эндоурова, Екатерина Николаевна, с дочкой своей, по получении сведений из Питера, поехала тоже туда, при чем случайно попала в вагон вместе с женой Желябова (урожденной Яхненко), ехавшей из его деревни к своим родным, кажется, в Киевскую губернию, тоже с ребенком.

XVII.

Осенью 1879 г., вероятно в конце сентября или в самых первых числах октября, получаю телеграмму из Симферополя, вызывающую меня с лошадью немедля. Нам ясно

---

* По словам М. Ф. Фроленко, он приезжал в Приморское два раза и увез Марью Осиповну Волховскую в Одессу, а потом уже А. М. Макаревич уехала с нею за границу.

было, что она от Сони. У нас была только одна лошадь и дроги. Поехал я спешно; дорога, после дождя, довольно грязная; лошадь добралась до Симферополя (50 верст) сильно заморенная; между тем, Соня рассчитывала именно на дрогах со мной приехать в Приморское, повидаться с матерью. Она остановилась у двух сестер Похитоновых, знакомых ей со времени житья в Симферополе; выходила она только с наступлением вечерней темноты; была у брата и у больной тетки Юлии Степановны. Я решительно не советовал ей ехать со мной, потому что на усталой лошади придется ехать медленно и, при пасмурной погоде, можно было попасть под дождь. Михаил Соломонович Берг дал Соне тысячу рублей и предложил отвезти ее в своем крытом фаэтоне с четверкой лошадей. Конечно она с радостью, согласилась, и они выехали, чуть свет, на другой день; а я поплелся следом и приехал часа на два позже их.

Между тем, наши догадались накануне с вечера (это была суббота) отпустить кухарку на целый воскресный день; работник наш тоже всегда уходил домой на воскресенье. Таким образом, с этой стороны было все хорошо. Мать, конечно, чрезвычайно рада была увидеть Соню. Хотя изредка получались от нее письма на безопасный адрес, но мы старались приучить мать к мысли, что вряд ли доведется ей увидеть дочь, да также и той не доведется долго прожить на воле, а так или иначе погибнуть. Огорчало мать, что Соня покашливала, жаловалась на грудь и носила шерстяную фуфайку. Соня ласкалась к матери, однако веселости не обнаруживала и тоже подготовляла мать к своей скорой гибели в казематах крепости или на эшафоте. А в общей компании она рассказывала подробности своего бегства от жандармов и про неудачи с освобождением централистов.

Рассказали мы ей про уверения Натансона о перевороте и видах на конституцию. — «Какая там конституция», — возразила Соня. — Это ерунда, конечно, а я просто мщу за

дорогих друзей, погибающих и погибших на эшафотах и в казематах крепости». Между прочим, расспрашивали мы ее про Синегубов, Чарушиных и других.

Разговор перешел на тему о браках вообще. Живо помню, как Соня высказывала, что «конечно, несомненно право борящихся за свободу на ту долю счастья, которую может дать брак, хотя и краткосрочный, но для меня лично эта доля счастья совершенно невозможна, потому что, как бы сильно и глубоко я ни полюбила мужчину, все-таки всякий момент увлечения будет отравлен неотступным сознанием, что в то же время дорогие и близкие мне друзья гибнут на эшафотах и в крепостях, да и народ страдает под гнетом деспотизма».

Я твердо уверен, что это было сказано не как мимолетная мысль, а как не раз прочувствованная и продуманная. К тому же говорила она это уже после основательного знакомства с Желябовым и следовательно может-быть после или одновременно с зарождением у ней чувства к нему. Кстати, при этом может служить рассказ Александры Меркурьевны Владыкиной, еще сейчас здравствующей. Она рассказывала мне, что, едучи с мужем, Николаем Ивановичем, обратно, из Щипцова к нам в Приморское (это было уже после взрыва московского поезда), они остановились в Петербурге у родителей, и им удалось видеться с Соней в сквере вокруг церкви Николы Морского, где она и раньше видалась с женой А. М. Эндоурова. Соня, по ее словам, была в грустном и даже мрачном настроении и даже сказала, что если бы не жаль было матери, то не прочь бы покончить с собой. Она намекнула ей, что подготовляется событие, вероятно решающее. Очевидно, это был намек на предстоящий взрыв дворца. Неудача этого предприятия, сопряженного с массой невинных жертв-солдат, без сомнения, еще более обострила тяжелое состояние духа сестры. Не до брачных уз было, конечно.

По всему этому, я нахожу верным замечание Л. Шишко в его прибавлении к «Истории революционного движения в России» Туна, отвергавшее брачный союз Перовской с Желябовым.

Уехала Соня от нас, с Бергом же, на другой день не рано (чтобы приехать в Симферополь в потемках); прощаясь с матерью, горячо обнимала ее и целовала ей руки. В тот же день вечером она уехала из Симферополя.

С грустью на лице прощалась с Соней мать, да и долго еще эта печаль заметна была на лице ее. Сознавала она, что ее Соня не будет играть маловажную роль в самых рискованных предприятиях. Полученные в скором времени известия о взрыве поезда в Москве навели нас сейчас же на мысль, что это не без ее участия.

XVIII.

Весной 1780 г. пожаловал к нам опять Гангардт с товарищем прокурора и, не производя обыска, подвергнул допросу всех, не исключая и С. К. Беловодскую и Н. И. Емельянова, случайно бывших в этот момент у нас. Начал он, конечно, с меня. Я прямо показал, что знал о бегстве Эндоурова и сам пригласил его к себе, в имение матери, которой его представил под вымышленным именем Петра Ивановича.

После допроса всех, Гангардт отправил меня, с двумя жандармами, на Бельбекский вокзал и в Симферопольский тюремный замок, куда они меня свели уже поздно вечером. Смотритель повел меня в коридор секретных камер, и я тотчас завалился на койку и заснул. Хотя окно в камере, выходящее на внутренний двор, было закрыто и довольно высоко, но я утром вскоре услышал голоса, звавшие меня. Я влез на подоконник, открыл окно, и увидел на дворе М. С. Берга * и еще двух, мне незнакомых — Н. Зотова

* Привлеченный за укрывательство Д. Я. Суровцева в имении брата его Ортолан, Феодосийского уезда, М. С. Берг, о котором уже упоминалось раньше, поехал в Одессу, месяца два тому назад, и повез

и Кауля, — да еще немца-печника, австрийского подданного. Они уже много раньше моего попали в тюрьму. Однако, меня еще несколько дней не пускали гулять на двор, пока, наконец, появились два жандарма и повезли меня на извозчике в окружной суд, в камеру прокурора суда.

Прокурором был тогда Витте, двоюродный брат министра финансов. Там же оказался молодой офицерик, жандарм. Первый же вопрос прокурора, заданный мне, был опять о том же, известно ли было мне, что А. Эндоуров бежал из-под ареста и скрывался. Я, конечно, повторил данное Гангардту признание, что знал все это, что пригласил его приехать ко мне в имение матери, что представил его матери под вымышленным именем Петра Ивановича (фамилию уже не помню) и точно также сообщал о нем полиции. Офицерик тотчас же перешел на вопрос, где моя сестра, известно ли мне (да, наверно, известно!), что она бежала с пути и где скрывается сейчас. Я показал, что не знал о ее бегстве, но предполагал это потому, что до сих пор ни я, ни мать не имели от нее ни письма, ни телеграммы, как было условлено. Офицерик все-таки продолжал навязчивые вопросы, но прокурор, видимо недовольный, оборвал его: — «Вы же слышали определенный ответ Перовского, что ему неизвестно пребывание сестры, и я считаю допрос оконченным».

довольно крупную сумму, для уплаты в Херсонский банк, по закладной на его имение. За ним уже давно была слежка. Какой-то шпик донес жандармскому управлению, что он повез крупную сумму для вручения террористам. Поэтому едва пароход подошел к пристани в Одессе, как его тут же арестовали и отправили в Симферополь, для дознания. Хотя ему скоро удалось доказать документально, для чего он вез деньги, и они ему были возвращены, но жандармы этим не удовольствовались и поставили ему в счет большое знакомство с неблагонадежным элементом, в том числе со мной, сестрой моей, с П. А. Теллаловым и другими, а также житье у него, хоть и кратковременное, Д. Я. Суровцева.

После этого привезли меня обратно в тюрьму, и смотритель сейчас же объявил мне, что прокурор разрешил перевести меня в общий с другими политическими коридор. Мне дали последнюю в коридоре камеру; в том же коридоре были еще камеры: Берга, Н. Зотова, Кауля и печника-немца. С утра после поверки, все камеры отворялись и, так как моя камера была наибольшей, в два окна, хотя наполовину загроможденная нарами, то мы почти целый день, до вечерней поверки, сидели в ней вместе и порой за общим чтением «Отечественных Записок». Бергу девушка приносила обед, в количестве, хватавшем нам всем; он же получал журнал «Отечественные Записки» и книги; получал также газеты. Ежедневно нас выводили на задний двор, и мы подолгу гуляли под присмотром одного солдата с ружьем из караульной команды.

Что было невыносимо — это блохи и клопы, в особенности последние. Пришлось приобрести бутылку конопляного масла и многократно смазывать все нары и заливать все щели, а также карнизы полов и подоконники. Жара летом наступила несносная, жажда неутолимая; хотя Берг устроил так, что ему приносили ежедневно несколько сифонов сельтерской воды, но нам все-таки этого не хватало и приходилось прибегать к простой воде, которую приносил уголовный арестант, в деревянном ушате сомнительной чистоты. Все мы переболели животами, а я в особенности — схватил форменную дизентерию. Берг дал знать моему брату, и тот приехал с доктором Бетлингом, прописавшим мне лекарство, и я скоро совсем оправился. Под осень посетил нас прокурор судебной палаты из Одессы, какой-то немец, в сопровождении нашего прокурора и его товарища; однако никакого определенного ответа на мои вопросы я не услышал от него.

Наконец, в конце октября или в начале ноября, в один прекрасный день, поднялась во всей тюрьме отчаянная

суматоха, начали гонять по всем камерам и коридорам уголовных женщин мыть полы, окна и двери; затем натирали пол какой-то зеленоватой жидкостью и протирали щетками. Смотритель и его помощник с озабоченным видом совали нос по всем камерам и объявили нам, что на-днях ожидается приезд генерал-губернатора Дрентельна со свитой. Не особенно это было мне приятно, потому что одежда моя, вполне деревенская, рубашка косоворотка, штаны и поддевка коломянковая, а также смазные сапоги из толстой кожи, с высокими голенищами, все это сильно поношенное, представляло неважный вид. Как на беду еще у меня в это время вскочил на носу изрядного размера прыщ с пунцовым ореолом. Дрентельн был с отцом моим товарищем по полку, а во время губернаторства отца и после часто играл с ним в карты в клубе.

Нас предварительно заперли по камерам. Входил он к каждому один, а свита — губернатор, полицмейстер, прокурор и жандармский полковник — оставались в коридоре, за дверью. Ко мне зашел он после всех и, подойдя близко, со сложенными на брюшке руками, пристально смотря мне в лицо, произнес: — «Скажите, вы сын Льва Николаевича?» — «Да, ваше превосходительство». — «Скажите, пожалуйста, что побудило вас дойти до такого положения?» — «У меня скрывался мой товарищ по институту и за это я привлечен к ответственности». — «Э, полноте, разве за такой мелкий проступок преследуют у нас? Если-б вы жили попрежнему, ездили бы в каретах, поверьте, вас никто не трогал бы». — «Мне другого обвинения не предъявлено», — сказал я, с трудом сохраняя серьезный вид. (Ну, и натешились мы потом по поводу езды в каретах!) Слегка кивнув головой, он повернулся и медленной походкой вышел из камеры.

После осмотра тюрьмы он отправился в богоугодное заведение и видно, подготовленный жандармским полковником,

встретил доктора Бетлинга суровым взглядом. Доктор разместил всех своих учениц, фельдшериц, по отдельным палатам каждую. Среди них была одна вятчанка (кажется Воробьева), очень скромная и застенчивая. Она стояла в первой палате на пути генерал-губернатора и от робости и смущения стояла, вытянувшись, как истукан. Дрентельн вскипел и грубо обратился к доктору: — «Чему вы их тут учите, что они и держать-то себя не умеют прилично. Удалить ее!» Затем прошел в следующую палату. В ней стояла Н. Д. Баранова, бывшая уже на замечании у жандармов (впоследствии жена казненного в Якутке Когана-Бернштейна). Она, услышав историю с товаркой, при входе Дрентельна отвесила ему глубокий реверанс, по всем правилам институтского искусства. — «Ну, вот, эта видно благовоспитана порядочно», — довольным — тоном, произнес сатрап. Но полковник шепнул ему что-то на ухо. — «Ну, да! все-таки эта умеет держать себя прилично». — И прошел дальше. В результате, обе фельдшерицы были удалены, а доктор Бетлинг, взбешенный этой историей, закрыл фельдшерские курсы и даже, сколько мне помнится, ушел из больницы.

Прошло еще изрядно времени и, наконец, 12 января 1881 г. вызвали меня в тюремную контору, и там жандармский полковник объявил мне решение двух министров, — дело мое прекратить и выпустить на свободу. С радостным сердцем пошел я в камеру собирать свои вещи и с поздравлениями товарищей поехал на извозчике к брату. Еще раньше выпустили двух — Кауля и Зотова, а Бергу объявили, чтобы он готовился к поездке в ссылку в один из захолустных городков Костромской губернии. *

---

* Берг пробыл в ссылке три года. Вернулся раньше моего и через несколько лет умер на хуторе по соседству с Приморским.

XIX.

3 марта, едучи верхом на Северную сторону, через слободку, за покупками, я узнаю вдруг, что царь убит бомбой и что вчера уже звонили в церквах и сгоняли народ присягать новому царю Александру III.

По дороге к пристани встречаю едущего верхом урядника, здоровенного детину, бородача. Спрашиваю его, правда ли, что говорят? — «Как же, правда, — отвечает тот — бомбой, брошенной в карету». Перекинулись еще несколькими фразами; радость в душе чувствовалась сильно. — «Не желаете ли,— говорю, — к случаю выпить по стаканчику?» — «С удовольствием», — отвечает тот. Повернул я опять на слободку с ним и, в трактирчике Трещина, нашего арендатора кирпичного завода, просил налить нам по стаканчику вина; чокнулись с урядником и выпили залпом. Скорей поехал я на пристань за провизией и домой, чтобы объявить своим о событии такой важности.

Против нашего дома, через дорогу, был кирпично-черепичный завод соседнего землевладельца, и в нем был писарем один грек с сыном, отменно глупые создания. Через несколько дней прибегает сын и сообщает, что двух злодеев уже поймали, а разыскивается злодейка! Мы все почувствовали, что речь идет, может-быть, о сестре!

Не помню точно, но кажется 13 или 14 марта я, решив еще накануне пахать, одел дождевик, так как шел снег пополам с дождем, и вышел, чтобы запрягать волов; но едва я отворил наружную дверь, как мои руки были схвачены жандармами и, в тот же момент из-за всех пристроек и из-за стогов сена стали выходить солдаты-артиллеристы, с шашками и револьверами.* Скоро из-за угла дома показался Гангардт в сопровождении полицмейстера Севасто-

* Револьверы и патроны им были выданы на этот случай.

поля. — «Капитан, что это значит?» — улыбаясь спросил я. Но он, с видимым смущением, торопливо приказал жандармам отпустить мои руки и итти в кухню. Войдя в переднюю, оба они отказались войти дальше, и им вынесли два стула. Гангардт объявил, что получил приказ арестовать меня и под строгим конвоем отправить в Петербург. При этом он сообщил, что сестра арестована. Испуганная мать, со слезами на глазах, произнесла: — «Что ж, их пытать будут?» — «Что вы, Варвара Степановна! Успокойтесь, это в настоящее время совершенно недопустимо и невозможно!» Я пошел в свою комнату переодеваться и просил, чтобы Владыкин привез потом чемоданчик с бельем и вещами.

Сначала мне Гангардт предложил сесть на дроги с жандармами, но чуть мы отъехали, он остановился, пригласил меня сесть к ним; они ехали на шарабанчике, с передним сидением; полицмейстер правил лошадью. Тогда-то сообщил мне Гангардт о суровом наказании жандармов, упустивших Соню.

Привезли меня на гауптвахту на Северной стороне. Вытребовали офицера, так как там старшим был только унтерофицер, и распрощались, сказав, что под вечер меня повезут на Бельбекский вокзал. Через некоторое время приехали Владыкин и жена, привезли чемодан с вещами, и, кажется, из офицерской столовой принесли мне обед. Часа через два подъехала конная фура с двумя жандармами и приставом Севастополя — Васильевым, бывшим много раньше приставом на Северной стороне и хорошо мне знакомым. Отправились мы на Бельбек и довольно долго ждали поезда. С каждой станции присоединялся к нам еще станционный жандарм (до следующей), и такая, можно сказать, помпа обращала на меня внимание пассажиров во всю дорогу.

В Москве, на Курском вокзале, пока подали соединительный поезд, посадили меня на очищенную от публики скамейку в зале III класса; удивленная публика расположилась

на почтительном расстоянии полукругом; но тотчас прибежал офицер и разогнал ее вовсе. Когда переехали поездом на Николаевский вокзал, Васильев спросил у старшего жандарма, где их служебное помещение. Тот сказал, что есть только небольшая каморка под лестницей. Мы удовлетворились ею и заказали обед, а пока Васильев достал из своего чемодана новую портупею и погоны и попросил меня помочь ему обшить их траурным крепом. Прибежал станционный офицер и глубокомысленно вполголоса начал говорить что-то Васильеву; на это Васильев наотрез отказался и, по уходе его сказал мне, что этот витязь предлагал ему для большей верности до отхода поезда отвезти меня в тюремный замок.

Потом, сытно пообедав и напившись чаю, мы перешли, наконец, в вагон. В Петербурге мы не выходили из вагона, пока вся публика не схлынула; к вагону подошли несколько жандармов со старшим и сообщили Васильеву, что карета готова. Вышли мы с Васильевым окруженные целой плеядой жандармов. С краю здания, у спуска с платформы, стояла плотная толпа носильщиков и публики, в том числе дежурный, в красной фуражке; в то время как мы спускались к карете, сей особливый верноподданный возмущенным голосом произнес: — «Вот с кого-бы шкуру спустить!» — Однако, никто из публики не поддержал его.

Карета была четвероместная, и мы все четверо уселись и поехали на Пантелеймоновскую в жандармское управление. К нам вышел маленький генерал, кажется, Комаровский. Поздоровавшись с Васильевым, он отпустил его и жандармов, а меня с другими жандармами отправил в дом предварительного заключения. Было уже за полночь. Дежурный оставил чемодан в канцелярии, сказав, что после пришлет, и послал меня с надзирателем в камеру третьего этажа; с дороги я порядочно устал, сейчас же завалился на постель, не раздеваясь, и заснул.

На следующий день я встал по деревенскому рано и ждал, что меня сегодня-же потянут к допросу или для какой-либо очной ставки; но ни того, ни другого не произошло несколько дней. Я недоумевал и несколько волновался и, ходя из угла в угол, курил нещадно папиросы-самокрутки, одну за другой. Внезапно отворяется дверь, и жандарм входит с озабоченным видом: — «Что, у вас горит что-нибудь?» — «Ничего подобного», — отвечаю. — «Это вы курите так, что камера полна дыма! Да разве так можно, ведь так здоровье себе повредите». — «Ничего, говорю, сойдет!» — После того глазок стал реже открываться. Пытался я перестукиваться в ответ на короткий стук, который я понял, как вопрос соседа — кто я? Но я не ознакомился раньше с азбукой, поэтому пытался выстукивать свою фамилию по обыкновенному счету букв и ошибался; меня перебивал нетерпеливый стук, и я начинал сначала. Наконец, сосед, выведенный из терпения, бросил стучать. Слышал я раньше не раз, что можно переговаривать через клозет и что для этого надо, набравши полную кастрюлю воды, быстрым взмахом вылить ее в клозетную чашку так, чтоб вся эта вода вылилась из сифона, тогда можно говорить и слышать говор. Пробовал я несколько раз это проделывать, но результат был неудовлетворительный, и говорить нельзя было. С крайней досадой пришлось отказаться от связи с другими заключенными.

Через несколько дней меня позвали на свидание. Ввели меня в огороженный перегородкой угол, и в маленькое окошечко я увидел свою мать. Недалеко от нее стоял молодой жандармский офицер. Поцеловались мы; печально было ее лицо. Спросил я ее, видела ли она Соню. Она сказала: да, но в дополнение ничего не прибавила, — ясно было, что говорить ей об этом не хотелось. После двух — трех фраз о здоровье и не нужно ли мне чего, мы с ней распрощались. Больше я мать не видел.

Брал я книги из тюремной библиотеки, исключительно журналы, и вот в одной из книг «Вестника Европы» прочел надпись карандашом: «3 апреля на Семеновской площади повешены: Кибальчич, Перовская, Желябов, Михайлов и Рысаков».

Вот тогда только я понял, что меня арестовали не по делу сестры, а просто со страха, — как предохранительная мера. Потом кому-то из наших знакомых директор департамента полиции Плеве сказал, что сослали меня в Сибирь ради дезинфекции.

XX.

Когда я вернулся из ссылки в 1885 г., то мать мне рассказала, что было с ней после моего ареста.

На другой день или через день после этого, Гангардт приехал к ней, показал ей бумагу департамента полиции о вызове ее в Петербург и выдал ей 150 рублей на путевые издержки. Мать сейчас же собралась и, в Симферополе захватила брата моего Николая. В Петербурге она остановилась в Северной гостинице, против вокзала, и сейчас же отправилась к министру внутренних дел Лорис-Меликову. В приемной пришлось ей порядочно дожидать, очевидно, пока приехал и пошел в кабинет министр юстиции Набоков. Тогда ее позвали в кабинет. Лорис-Меликов пригласил ее сесть против него, около его письменного стола. Начал он, не называя ее по имени и отчеству: — «Я должен вам передать, г-жа Перовская, настоятельную просьбу или (спохватившись) верней приказание государя, чтобы вы употребили все ваше влияние на дочь, чтобы она выдала всех соучастников своих, потому что необходимо положить конец этому пролитию крови». — Мать ответила на это: — «Дочь моя с раннего детства обнаруживала такую самостоятельность, что ее нельзя было заставить делать что-

либо по приказанию, а только лаской и убеждением; в настоящее же время она уже в зрелом возрасте, вполне сложившихся взглядов, ясно понимала, конечно, что делала, и потому никакие просьбы не могут повлиять на нее».—«Не забудьте, сударыня, что еще ваш сын в наших руках, и мы сгноим его в тюрьме, если понадобится!»—произнес повышенным тоном этот славный сын своей родины (как назвали его Гр. Джаншиев и Е. Кони).—«Я знаю, что вы можете это сделать»,—сказала на это мать, без сомнения, подавленным голосом.—«Но вы всетаки пожелаете видеть вашу дочь?»—спросил Лорис-Меликов. — «Конечно, хотела бы».—«Так вам будет дано свидание!»—сказал он, вставая, давая понять, что прием окончен.



С. Перовская.
(Март 1881 г.)

На другой день мать известили, в каком часу и где ей дано будет свидание с дочерью; не помню только, куда ее пригласили.

Ее ввели в отдельную комнату, по середине которой стояли четыре стула; там находились жандармский офицер и товарищ прокурора. Сейчас же жандармы ввели Соню. Едва они успели обняться и поцеловаться, как их заставили сесть рядом на стуле, а офицер и товарищ прокурора сели против каждой, придвинув стулья так близко, что, как говорила мать, буквально касались их колен своими. Соня всячески

запонокъ непозволяютъ но-
сить, и воротничекъ поуже,
а то для суда хоть немножко
поправить свой костюмъ,
а то тутъ онъ очень растро-
ился.

До-свиданье же, моя дорогая,
опять повторяю свою просьбу:
не терзай и не мучай себя изъ
за меня, моя участь вовсе
не такая плачевная, и тебѣ из-
за меня горевать не стоитъ.

Твоя Соня

22 марта

Дорогая моя, неоцѣненная
мамуля, меня все давитъ и
мучаетъ мысль, что съ тобой?
Дорогая моя, умоляю тебя,
успокойся, не мучь себя изъ-за
меня, побереги себя ради всѣхъ
окружающихъ тебя и ради
меня также. Я о своей участи
нисколько не ~~горюю~~, совершенно
спокойно встрѣчаю ее, такъ
какъ давно знала и ожидала,
что рано или поздно, а такъ
будетъ. И право же, милая моя
мамуля, она вовсе не такая
мрачная. Я жила такъ [illegible]
подсказывали мнѣ мои убѣ-
жденія, поступать же про-
тивъ нихъ я была не [illegible]
поэтому со спокойной [illegible]

ожидаю все предстоящее мнѣ. И единственно что тяжелымъ гнетомъ лежитъ на мнѣ это твое горе, моя неоцѣненная; это одно меня терзаетъ, и я не знаю чтобы я не дала чтобы облегчить его. Голубонька моя мамочка, вспомни что около тебя есть еще громадная семья и малые и большие, для которыхъ для всѣхъ ты нужна, какъ великая своею нравственною силою. Я всегда отъ души сожалѣла что не могу дойти до той нравственной высоты, на которой ты стоишь; но во всякия минуты колебания твой образъ меня всегда поддерживалъ. Въ своей глубокой привязанности къ тебѣ я не стану увѣрять, такъ какъ ты знаешь что съ самаго дѣтства ты была всегда моею самою постоянною и высокою любовью. Безпокойство о тебѣ было для меня всегда самымъ большимъ горемъ. Я надѣюсь, родная моя, что ты успокоишься, простишь хоть часть все то горе что я тебѣ причиняю, и не станешь меня сильно бранить, твой упрекъ единственно для меня тягостный.

Мысленно крѣпко и крѣпко цѣлую твои ручки и на колѣняхъ умоляю не сердиться на меня. Мой горячий привѣтъ всѣмъ роднымъ.

Вотъ и просьба къ тебѣ есть, дорогая мамуля, купи мнѣ воротничекъ и рукавчики, только съ пуговками, а то

Последнее письмо С. Перовской. (Перед процессом 1 марта 1881 г.)

упрашивала мать успокоиться, прося ее простить ей то горе и муки, какие она ей причинила, и верить, что она не могла поступить иначе. Говорила, что она с радостью встретит смерть, потому что жизнь ей была невыносимо тяжела, и страшна ей только возможность помилования; так как оба свидетеля пригибались близко к их лицам, нахально впивались своими глазами, рассказывала мать, обе они чувствовали невыносимость этого положения, и сами безмолвно согласились прекратить скорее свидание. Между прочим, Соня просила мать прислать ей простое черное платье. Это удалось сделать скоро благодаря знакомой симферопольской студентке Паше Личкус, которая с другими еще приходила к матери в гостиницу и старалась всячески оказывать ей внимание. Хотя она была много полней Сони, но роста такого же приблизительно, по ней скроено было платье. Второе свидание дано было матери вскорости, и в виду того, что они были обе спокойнее, да и свидетели держали себя посдержаннее, то оно и продолжалось дольше. Соня, между прочим, указывала матери, что у нее есть еще целая семья, для которой она еще чрезвычайно необходима, и что это поможет ей залечить душевные муки, причиненные ей теперь.

Итти на заседание суда мать не хотела совсем и не спрашивала пропуска. Полученное от Сони письмо (уже раз напечатанное) еще больше усилило душевные муки. Сейчас после суда она просила дать ей возможность проститься с дочерью. Ей ответили, что с момента вынесения приговора дочь ее считается мертвой, и потому никаких свиданий не полагается. Этот гнусный ответ так сильно взволновал мать, что она не хотела и не могла уже итти на свидание со мной, а решила скорей уезжать.

В довершение ко всем душевным потрясениям, ей довелось испытать еще глубокое разочарование в своем старшем брате — Константине Степановиче Веселовском, продол-

жавшем еще секретарствовать в Академии Наук. Мать на первых же порах по приезде пошла к нему. Едва она взошла в переднюю, к ней выбежала дочь брата (уже не молодая) Софья и со слезами стала обнимать ее, но за ней следом вошла жена брата, Александра Сильвестровна, и стала оттягивать дочь свою, а вслед за этим вошел и сам брат и, махая руками, произнес: — «Я боюсь, уходи, пожалуйста, поскорей!». Матери пришлось повернуться и уйти.

Пришел ко мне брат Николай. Сказал, что мама очень расстроена и что завтра же они уезжают домой. Если что-нибудь мне понадобится, то чтобы я обращался к защитнику Сони, присяжному поверенному Кедрину; он выразил готовность все сделать. Свидание с братом происходило через две решетки, на расстоянии аршина одна от другой.

XXI.

Итак, теперь приходилось ждать у моря погоды, как говорится.

Наконец, в конце мая или в июне повезли меня в жандармское управление, на Пантелеймоновской, и какой-то пожилой офицер начал допрос, задавая вопросы, представлявшие повторение прежних и, кроме того, касавшиеся моих отношений и знакомства с целым рядом лиц, судившихся и сосланных административно. Когда я все это написал не менее как на двух страницах листа, офицер, походив несколько по комнате, сказал: — «Ну, прибавьте, что больше ни в чем не чувствуете себя виновным». Сдерживая кое-как улыбку, я написал это и подмахнул. Затем увезли меня обратно, и потянулись нескончаемые дни.

Наконец, в половине сентября меня потребовали в контору, и там начальник тюрьмы (кажется, Щепкин) задал мне вопрос: — «Известно ли вам, куда вас высылают?» — «Ни-

чего мне неизвестно»,—говорю. Удивился он, почему мне ничего не объявлено своевременно, и сказал, что меня высылают в западную Сибирь.—«Напишите записку кому-либо из родных, чтобы вам приготовили, что нужно на дорогу. Я пошлю ее сейчас же».—«Таких родных у меня нет здесь»,—говорю.—«Ну, напишите, что вам нужно купить; это будет сделано».—«У меня мало денег для этого»,—говорю.

Комиссия из двух чиновников и доктора записали мои приметы (для чего пришлось раздеваться), и я вернулся в камеру. Сейчас же жандарм спросил мою денежную книжку, по которой оставалось у меня три или четыре рубля, и скоро вернул ее с надписью получения десяти; между тем, письма никакого не принес, и я догадывался, что это Щепкин вписал верно из своих денег. 23 сентября меня потребовали в контору с вещами и сдали этапному офицеру, а затем повезли в карете с двумя жандармами на Николаевский вокзал и ввели в арестантский вагон. Стали подвозить по одному и других политических, мужчин, а женщин—в другой вагон, рядом. Вся партия мужчин была, кажется, в 18 человек: я, Иванчин-Писарев, Д. Клеменц, Штромберг (впоследствии возвращен из ссылки, судился и казнен), рабочий Крылов, О. Е. Николаев, Н. Э. Петропавловский (Коронин) и еще старик высокого роста Ненсберг (бывший служащий таможни); затем Врублевский и Броневский—оба по польским делам; затем каторжане: О. Веймар, Трощанский, Адр. Михайлов и киевляне, присоединенные в Нижнем: Щедрин, Кашинцев, Петр Иванов, Кизер, Доллер. Из женщин на барже в Нижнем оказались: Л. Н. Ковальская, Богомолец, Присецкая (административная). На пути в Твери присоединили еще Старынкевича и рабочего Хрущева—в Москве. Первые каторжане были закованы, исключая доктора Веймара (по болезни). Помню хорошо, что киевляне также не были закованы. Старынкевича заковали и обрили дорогой, на барже.

В Тюмени оставили меня, Николаева, Крылова и, кажется, Броневского и Врублевского, а всех прочих дня через два отправили дальше пароходом.

Мне пришлось сидеть в тюменьской тюрьме почти до конца ноября, когда, наконец, отправили меня, с двумя жандармами, сначала на колесной бричке, а с полпути — на санях, в городишко Тару (Тобольской губернии), прямо на квартиру исправника. У него оказалось уже письмо моей больной тетки Юлии Степановны, со вложением 100 рублей. Очень горевала она, что меня неожиданно увезли без теплой одежды, да в такую даль; нуждаясь непрерывно в средствах, она не удержалась все-таки послать мне что было на руках, адресуя мне на Тюмень. К моему крайнему сожалению, я, по возвращении из Сибири, не застал ее уже в живых.

Через несколько месяцев было прислано через полицию объявление о сроках ссылки административным. Мне назначили трехлетний; но за столкновение с полицией впоследствии был прибавлен еще год, так что вернулся я домой в 1885 г., в конце октября.

XXII.

В 1890 г. мне удалось достать Кенана в русском переводе, с описанием его знакомства в Сибири с политическими ссыльными и каторжанами. Читал я громко, и мать слушала с большим интересом, но когда дошел я до его грустного рассказа свиданий с Наталией Армфельд и о больной ее старухе матери, у моей матери вырвался истерический плач, и чтение пришлось отложить на несколько дней; настолько еще болезненна была память о дочери.

Из последующего времени могу прибавить еще про наше знакомство с Софьей Михайловной Гинзбург, так безвременно погибшей в самом скором времени после знакомства с нами.

Не помню уже, в каком году, а также по какому случаю, но вскорости по возвращении моем из ссылки, свели мы знакомство с одним очень симпатичным молодым человеком, учившимся в каком-то пиротехническом училище в Кронштадте и служившим в то время в севастопольской крепостной артиллерии каким-то инструктором (не помню точное название). Он был уже чем то старше унтер-офицера, так как носил широкую, поперечную, золотую нашивку на погонах. Это был Алексей Венедиктович Орочко. * Приходил он к нам в Приморское довольно часто, преимущественно по воскресеньям.

Вот, однажды, приходит он к нам вместе с молодой девушкой, среднего роста, красивой брюнеткой, прекрасно сложенной и цветущего здоровья. Это и была С. М. Гинзбург. Провела она у нас почти целый день, до вечера; много расспрашивала про Соню и сказала, что, приехав ненадолго в Севастополь и узнав о пребывании поблизости семьи Софьи Львовны, почувствовала сильное желание познакомиться с ней. Сказала, как-то между прочим, что была бы счастлива, если бы ей довелось пойти по стопам Софьи Львовны. Чрезвычайно понравилась она нам всем, и мать любовно взглядывала на нее (тогда у матери катаракта глаз еще только начиналась).

Помнится, что в это время у близкого нашего соседа, Михаила Соломоновича Берга, вернувшегося из ссылки, жил Алексей Львович Теплов, женившийся на француженке, гувернантке детей Берга. Этот Теплов был раньше учителем моих двух сыновей и жил у нас. Не особенно он мне нравился. Огромного роста, с небольшой, но широкой бородкой и длинными до плеч темнорусыми волосами, он ходил в черной, с широчайшими полями войлочной шляпе,

---

* Потом одновременно с С. Гинзбург арестованный, судившийся и сосланный в Сибирь.

в синей блузе и пальто, внакидку, нараспашку и с толстой палкой. При такой внешности, он не мог не обращать на себя внимания прохожих и, конечно, был на виду у полиции. На Северной стороне, у пристани его знали все, от мала до велика. Не нравился он мне, да и он, несомненно, не долюбливал меня.

С. М. Гинзбург производила настолько обаятельное впечатление вообще и на севастопольских артиллеристов в особенности, что скоро обратила на себя внимание полиции и жандармерии. Потом мы слышали, что было дано знать о ней из-за границы в департамент полиции. Несколько дней, однако, ее укрывали артиллеристы, но все-таки надо было скрыться из Севастополя. Не знаю уже, по ее ли выбору или по чьему-то поручению, взялся за это, к великому ее несчастью, Теплов. Переехав с нею через бухту на Северную сторону, где его знал каждый мальчишка, он нанял дрогаля и поехал с ней на полустанцию, в горах, в лесу — Мекензиевы Горы.


В. С. Перовская.

Между прочим, надо упомянуть, что у нас только-что ушла старуха-кухарка и нанялась новая — молодая.

Станция Мекензиевы Горы маленькая, совсем в стороне от жилых мест, построена исключительно для надобностей грузового движения; на ней, буквально, в неделю человека два—три приедут или сядут на поезд.

Не знаю также, кому принадлежала идея—уехать С. М. Гинзбург в Бахчисарай и там отправиться в Успенский монастырь в качестве богомолки и скрываться там несколько дней в маленькой гостинице. Идея очень удачная; вряд-ли пришла-бы полиции в голову мысль искать ее там.

Но какую голову надо было иметь Теплову, чтобы, приехав с ней на такую безлюдную станцию и усадив ее в вагон, взять билеты прямо на Бахчисарай!?

На другой день, или через два, полиция заметалась в Севастополе; помощник полицмейстера кинулся ее искать. Конечно, он без труда узнал от яличников, что Теплов переехал с барышней на Северную, нанял дрогаля на Мекензиевы Горы. Имел он также от пристава сведения, что у нас переменилась кухарка. Вот, подъезжает он к нам; застает меня на дворе. — «Василий Львович, мне необходимо взглянуть на морду вашей кухарки». — «Сделайте одолжение», — говорю, и кликнул кухарку. Едва она показалась из кухни: — «Благодарю вас!» — и обращаясь к извозчику: — «На Мекензиевы Горы!» Там, конечно, он получил обстоятельные сведения, что барышня была со столь заметным человеком и взяла билет в Бахчисарай. Конечно, в Бахчисарае уж малому ребенку было бы ясно, что надо искать в монастыре. Там ее и взяла полицейская крыса. Вот как погибла несчастная Гинзбург, даже не за медный грош, как говорит поговорка.

Какое жгучее чувство ненависти почувствовали мы все, когда на другой день узнали о подробностях. Я не могу до сих пор подумать об этом спокойно. А ведь сам-то он какой счастливец! Оказывается помощник полицмейстера, хитрый, да не очень, едучи уже на пристань, встретил Теплова и, торопясь несказанно на Северную сторону, отправил его с полицейским к жандармскому подполковнику, кажется, Малицкому. Вошли они в переднюю. В комнатах слышится говор и веселье. Выходит хозяин уже навеселе

и ничего не понимает, спрашивает у проводника городового и у самого Теплова, за что тот арестован. — «Право не знаю», — говорят и тот и другой. — «Ах, горе мое, а у меня, знаете, именины, гости. Не можете-ли вы притти ко мне завтра утром?» — «Конечно, — говорит, — с удовольствием!» И был таков!

XXIII.

В заключение расскажу про два эпизода, случившиеся с нами, при приездах Александра III в Севастополь на спуски броненосцев с эллинга русского общества пароходства и торговли — решительно не помню только, в каких годах.

Рано утром, в первый приезд, мы в окна увидали небольшой отряд казаков, направлявшийся к нам. Вскоре позади нашего магазина с хлебом и бочками вина поставлен был пикет из трех казаков; затем невдалеке внизу горы, около хатки нашего работника, поставлен был другой такой же караул. Жена этого работника была в это время у нас в кухне, и ей не позволили вернуться к себе в хату. У нас жили тогда двое молодых парней сапожников — братья Лучинские. Когда один из них вышел за магазин, то казаки обратились к нему со словами: нельзя ли посмотреть на хозяина вашего, про которого нам приказано, что, в случае если он выйдет из дома и захочет уходить, то окликнуть его, приказать вернуться и, если он ослушается, то стрелять. Я вышел к ним, и они, посмеиваясь, говорили, что ожидали страшного по виду! Я предложил им закусить, но они попросили пить. Я сказал Лучинскому, чтобы вынес им графин с нашим вином из бочки. Казаки очень обрадовались и мигом осушили его. Лучинский наполнил им его вторично.

Часа через три—четыре, вахмистру (старшему) насилу удалось их разбудить и с помощью еще двоих усадить на лошадей, и они удалились восвояси.

В следующий приезд царя мы конечно ожидали опять подобную блокаду, но вышло иначе.

У нас в это время жила моя сотоварка по ссылке в Сибирь, Екатерина Болеславовна Гронковская * и, по ее приглашению, харьковская знакомая, больная чахоткой от сиденья в тюрьме, кажется Красносельская (или что-то в этом роде). Она настолько у нас поправилась, что попросила позволения приехать к нам и ее жениху, кончавшему воинскую повинность в Закаспийской области, в чине прапорщика запаса, опять-таки кажется, Литягина, сына харьковского лесопромышленника. Он приехал незадолго перед этим и захватил с собой на свадьбу, в качестве свидетеля, своего сотоварища по службе в Асхабаде. Вскоре же свадьба состоялась и венчали в церкви, на Северной слободке, против братского кладбища. Оказалось потом, что у священника затребовали потом подробные сведения о них и о свидетелях.

В одно прекрасное утро, когда мы уже ждали появления казацкого отряда, видим мы в окно двое дрог с жандармами и полицейскими, направлявшимися к нам. А затем появился и жандармский капитан, с сильной проседью, и полицейский пристав. Начал он обыск с комнаты матери моей, а приставу предоставил обыскивать помещения сапожников Лучинских и новобрачных. Обыск он производил у матери до смешного тщательный, до последней тряпки. Затем, после окончания обыска всех помещений, капитан потребовал всех мужчин в комнату матери, а женщин — в другую комнату; предложил всем мужчинам раздеться до-гола, и жандармы внимательно осмотрели всю одежду. Для осмотра женщин позвана была жена нашего работника. Понятно, почти никакого осмотра не было. По окончании всей этой процедуры и составления протокола, капитан объявил, что

---

* Привлекавшаяся по делу об убийстве шпиона Рейнштейна.

все мужчины арестованы и будут отвезены в тюрьму, а часть женщин (мать и жена) остается под домашним арестом, под наблюдением полицейского.

Нас посадили уже совсем к ночи в три камеры Севастопольской тюрьмы: мужчин в двух, а женщин (Гронковскую и Литягину) — в третью. Дня через три или четыре, ночью раздается осторожный стук в дверное окошко; старший дежурный, волнующимся голосом, сообщает, что произошло крушение царского поезда под Борками и неизвестно еще, сколько раненых и убитых! В радостной надежде забились сердца у всех, но утром уже разочарование: вся царская семья невредима!

Ждали день, другой, что нас выпустят наконец. Не тут-то было! Продержали нас целый месяц! Жандармский капитан, кажется, Малицкий, освобождавший нас, признался, что продержали нас, пока не выяснилось окончательно отсутствие политического умысла!

---

1 руб. — р.